

# АНАТОЛИЙ ИВАНОВ

СИБИРИАДА

ЖИЗНЬ  
НА ГРЕШНОЙ  
ЗЕМЛЕ



Сибиряда

Анатолий Иванов

**Жизнь на грешной  
земле (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1956–1985

**Иванов А. С.**

Жизнь на грешной земле (сборник) / А. С. Иванов — «ВЕЧЕ»,  
1956–1985 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4444-8702-0

В книгу известного советского писателя, лауреата Государственных премий СССР и РСФСР имени М. Горького Анатолия Степановича Иванова (1928–1999) вошли повести и рассказы с характерным для него обостренным отношением к социально-нравственным проблемам современности в ее неудержимом единстве с героической историей страны. Во всех этих произведениях высокие принципы социалистического гуманизма утверждаются в суровой и непримиримой борьбе со злом. Повесть «Жизнь на грешной земле» в 1973 году была экранизирована.

ISBN 978-5-4444-8702-0

© Иванов А. С., 1956–1985

© ВЕЧЕ, 1956–1985

## Содержание

Повести	6
Жизнь на грешной земле	6
1	6
2	10
3	12
4	13
5	19
6	21
7	23
8	29
9	31
10	36
11	37
12	38
13	41
14	43
15	44
16	45
Вражда	47
Конец ознакомительного фрагмента.	92

# **Анатолий Степанович Иванов**

## **Жизнь на грешной земле**

© Иванов А.С., наследники, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

## Повести

### Жизнь на грешной земле

*Михаилу  
Александровичу  
Шолохову*

#### 1

Днем, едва холодное солнце покатилося вниз, на зареченских лугах и дальше, на убран-ных пашнях, начали ходить туманы, поднимаясь над заболоченными местами, низинками. К вечеру гнезда их густели, наливались холодом, разбухали все больше. И наконец беззвучно сомкнулись друг с другом. Мутная пелена над заречьем все тяжелела, ползла к реке, закрыла сперва противоположный берег, затем половину широкой, тихой, обессилившей за знойное лето Оби, неотвратимо подступала все ближе к деревне, грозя залить ее, раздавить своей неведомой тяжестью.

– Врешь, брат Татьян, – сказал Павел Демидов, по обыкновению сидя у стены своей мазанки и глядя через реку на тускнеющие зареченские дали.

– Об чем ты это, пап? – спросил у Демидова восьмилетний приемный сын Гринька, заходя во двор. Посиневшими руками он держал облезлый школьный портфель. – Кто врёт?

– Туман-то! – кивнул Демидов в сторону Оби. – Ишь шельма.

Гринька шмыгнул носом, потер под ним пальцем, подумал.

– А как он врёт?

– Ну – грозит. Не чуешь?

Они еще помолчали. Гринька – маленький, в огромной отцовской фуражке, в новой суконной тужурке, купленной только нынче перед школой в сельмаге. Демидов – сухой, тощий, угловатый какой-то, нескладный – остро торчали выставленные далеко вперед его колени, из-под толстой телогрейки остро выдавались плечи. Лет ему было уже за шестьдесят, он получал пенсию, но стариком назвать его было нельзя. Лицо он, хоть и редко, брил, вот и сегодня побрился, и крепкие, совсем не дряблые щеки поблескивали в неярком свете угасающего дня.

– Чую, – сказал Гринька. – Чем гуще туман к вечеру, тем утренник крепче будет. Ты всегда так говоришь.

– Это так. А еще что чуешь?

– Боле ничего.

– А ты замри. Замри и слушай. Ну, чего слышишь?

Гринька, старательно наморщив лоб, постоял без движения.

– Ничего. Пес какой-то лает.

– Балда. Сучка это лает. Бригадира Митрофана. Еще?

– Вроде на задах грузовик проехал. Девчонки где-то, кажись, пищат.

– Колхозного конюха Артамона дочка это повизгивает, Клавка-то.

– Их там много хохочет, девок-то, – уточнил Гринька.

– И Клавка там. Там она. А сейчас гармоней Леньки-тракториста запиликает. Дурак он, Ленька, гармонь у него дорогая, вся блестит, как в изморози, а играть не умеет. Так, будто лесину сырую пилит... Так-то он парень ничего, и чуб ладный.

Вскоре действительно донеслись тусклые, почти совсем задавленные расстоянием, нескладные звуки гармошки.

– Ну вот. А он – грозит, – опять кивнул за реку, в сторону надвигающегося тумана, Демидов.

– А что ему грозить? – все так же непонимающе спросил Гринька. – И кому? И как это он может грозить?

– Балбес! – глаза Демидова сердито блеснули. – Ступай домой. Там картошки для тебя сварены. На подоконнике в крынке молоко... А я посижу тут еще.

– Пап, ты только в магазин к Марьке Макшеевой не ходи, – попросил Гринька, как просила всегда Надежда, неродная Гринькина сестра, вот уже два года работающая в Маршанихе на лесоустроительной станции. И так же, как сестра, прибавил: – Не пей ты, пап, эту проклятую водку.

– Сгинь, чтоб ты! – прикрикнул Демидов. – Сказано – тут посижу. Никуда не пойду.

Гринька ушел и, ужиная в одиночестве, думал, что отец, как всегда, беспрерывно пойдет в магазин, едва мигнет «волчье око» (так называл сам отец, а за ним и вся деревня, светящееся по вечерам низкое оконце в доме Марии Макшеевой, через которое она продавала водку «без сдачи», что у нее означало – четыре рубля бутылка). Пьяный отец был добрый, пожалуй, добрее, чем трезвый, часто приносил ему купленное через то же оконце: то дешевеньких конфет или пряников, то бутылку лимонада. И пока не проходил хмель, все крутился по комнатухе, оправдываясь, что выпил вот, убеждал его, Гриньку, никогда не пить, часто гладил по голове и иногда, кажется, плакал. Но, боясь, что слезы заметит Гринька, встряхивал головой и, так же шагая из угла в угол, мурлыкал без конца одно и то же, странное, непонятное:

А кто ж я такой? Просто так – имярек.

Я, братцы-р-ребятцы, чудной человек...

Уж нет-нет да угомонится он, уляжется.

И все же Гриньке не хотелось, чтобы отец каждый вечер был пьян. Трезвого он любил его больше.

Прибирая со стола, Гринька думал: он, отец, чудной у него, эту правду он про себя поет. Три года назад он взял его из маршанихинского детдома со странным условием:

– Тебя Вовкой кличут? Отныне я тебя Гринькой звать буду.

– Я не хочу, – сказал Гринька, бывший тогда еще Вовкой.

– Это уж обязательно. Иначе, сынок, не выйдет у нас ничего. Не возьму я тебя, хоть ты малец вроде ничего, с гвоздем парень. Другого выберу.

И, помолчав, выкурив в молчании длинную самокрутку, старательно затоптав окурочек в землю (они разговаривали в детдомовском саду), начал длинную, наполовину непонятную речь:

– Сам я, сынок, лесник, деревья, значит, сторожу, за лесом ухаживаю, зверюшек всяких оберегаю. Сторожка моя в лесу стоит... А лес какой у меня! О-го-го, брат! Вот лежу я в сторожке или иду по лесу – деревья шумят, шумят... Ты думаешь, они просто от ветра шумят? Не-ет, сынок. Они это со мной разговаривают: какая, значит, радость у них или какая беда... Или, скажем, кто прошел, проехал мимо – такой-то, мол, человек, или плохой, или хороший. Ну, понятно, хороший – так я иди себе. А коли плохой – нет, брат, шутишь, погоди-ка! Вот так – обо всем докладывают. Деревья, они, сынок, и не деревья вовсе, а живые люди. Это лесина спиленная – дерево, бревно, словом... А живем мы в сторожке с дочкой Надеждой. Она тоже у меня приемная. Я ведь бобылем все жил, жены у меня никогда не было. А почему? Это сынок, такой вопрос, под старость только и сумеешь разобраться, может. А может, по глупости. Ну да ладно... Вот и надумал я – присмотрю-ка с детдому я себе дочку. После войны много их

было, детдомовцев, да... Больше, чем теперь. Ну и присмотрел... Понравилась одна, сопливая такая. Конопатая, как ты. Люблю отчего-то конопатых я. Только ее Анной было звать. Анька-встанька, муженька достань-ка... Вот глупые слова, а отчего-то ударили мне в голову, когда с ней, как с тобой вот, беседовал. Что ж, думаю, выращу ее, она муженька-то и достанет, а я опять один. Будешь, говорю, ты Надеждой теперь. Тебе, говорю, имя, а для моей жизни смысл. Вот так я ей сказал. Будто при новом имени не присмотрела бы она себе муженька и рано ли, поздно ли не ушла от меня. Вот ведь какой глупый я был, а? Как думаешь?

И Гринька припомнил, что он вдруг воскликнул тогда:

– Почто же – нет! Ты правильно... Раз ты ее берешь в дети, так и она должна!

– Вот-вот, угадал я – с гвоздем ты! Да только, брат, должна-то должна, а человек-то по-человечьи и жить обязан. По весне зацвести радостью, как поле росными цветами, все лето – рожать, а после и озимь посеять. Семена свои, значит, после себя оставить. Это я вот один – чудной человек... Да-а, хорошая она у меня, Надежда, дочка добрая выросла. Да только в Моршаниху вот теперь часто бегает – то в кино, то на танцы. А там, у лесовода одного, парень – Валентином звать. Парень, скажу тебе, тоже ничего, с гвоздем человек будет, да, считай... Чуешь, словом, чем пахнет?

– Девки – они такие! – опять вырвалось у Гриньки, тогдашнего Володьки. – А я тебя никогда не брошу.

– Ага! Согласный, значит?

– Что ж тут хорошего, в детдоме-то? Только уж Вовкой я был, Вовкой пускай в останусь.

– Ну, это невозможно. Никак, сынок, невозможно.

– Да почему?

Его будущий отец тогда опять помолчал, выкурил еще одну самокрутку.

– Надька-то замуж выйдет, уйдет к мужу, понятно. К Валентину ли, к другому ли кому... Девка выросла, говорю, что надо – красивая, гладкая, в бедрах сильная. Глаза у ней, Гринька, – ишь какое хорошее имя-то, сынок! – глаза у ней светлые, лучистые, блеснут – зажмуришься. Да что ж, – вздохнул он, – я свое исполнил, вырастил ее. Пушай она теперь свое исполнит. На земле должно быть как можно больше людей со светлыми глазами. Уйдет, а я опять один останусь. Один? Ан нет. Просыпаюсь я ночью, скажем, а в ушах у меня – гринь-гринь-гринь... Что это – оконные стекла от ветра, может, звенят? Нет, это сына так моего зовут. Иду я по лесу, а кругом – гринь-гринь-гринь... Кто это? Птицы, может, поют? Ну да, верно, они поют. А про кого? Про моего сыночка щебечут они... Нет, никак невозможно, чтоб Вовкой ты оставался.

...Гринька прибрал со стола, накрыл блюдечком крынку, из которой наливал молоко. За окнами давно стояла плотная темень, такая плотная, будто стекла кто-то заклеил черной бумагой. Отца все не было.

Вздыхнув, мальчишка разобрал свою постель, щелкнул выключателем и залез под одеяло, продолжая вспоминать недалекое прошлое. Ему жалко, очень жалко было расставаться тогда с прежним своим именем, но чем-то понравился ему этот пожилой человек, а несколько раз сказанное им непривычное слово «сынок» выжимало слезинки.

– А зайцев... их тоже ты оберегаешь? – спросил он тогда, опуская стриженую голову, чтобы спрятать глаза.

– Зайчишек-то? А как же. Самый беззащитный народ. Их вокруг сторожки моей прыгает, как воробьев вокруг весенней лужи.

– Ладно, я согласный.

Он-то был согласный, но потом вышли большие осложнения, его долго не отдавали в сыновья этому человеку.

– Возраст, – говорил директор детдома, – у вас преклонный, товарищ Демидов.

– Что возраст? Я крепкий, на лесном духу настоящий, еще двадцать лет, как заяц, проскакаю! – доказывал его приемный отец тогда. – А коли что – дочь Надежда его довырастит. Я вам приведу ее, поглядите, какова деваха.

И он привел ее. Она, высокая, решительная, и вправду с какими-то удивительно добрыми и лучистыми глазами, тоже что-то доказывала директору, потом несколько раз ходила, выхлопывая разрешение, в различные районные организации. И выхлопотала.

В лесной сторожке Гринька прожил с отцом и Надеждой всего два года. Что и говорить – там было хорошо. Вот только зайцы вокруг дома не прыгали и вообще близко не подходили к жилью – боялись, видимо, собачьего духа, зато поблизости текла небольшая прозрачная речка, в которой они с сестрой ловили удочками жирных усатых пескарей, а по берегам собирали ежевику и смородину.

Надежда была озорница, беспрерывно хохотала, оглашая весь дом, весь лес звонким своим голосом, глаза ее, когда она смеялась, лучились еще больше. Только к вечеру они, по обыкновению, притухали. Сперва Гринька не понимал, в чем дело, а потом стал догадываться – беспокоится Надежда об отце.

И верно, отца вечерами долго не было, и довольно часто приходил он пьяный. Он никогда не шумел, не ругался и, если выпил очень много, сразу ложился спать. А иногда до света мерил шагами просторную кухню и мурлыкал свою песню.

Один раз Гринька слышал, как Надежда, плача, говорила ему:

– Не пей ты, папа, эту проклятую водку. Ну отучись. Ведь сын у тебя теперь малолеток, его на ноги ставить надо.

– Поставим, Надежда, поставим... Я пью, да разум не теряю.

– Как же! Прошлой зимой не замерз чуть. Кабы я не отыскала тебя в сугробе...

– Это было, доченька... Дурак я. Растревожил меня тогда Денис Макшеев, Марькин муж, сдохнуть бы ему! Да это раз только и было. А так – в контроле я завсегда.

– Да отчего ты пьешь ее, проклятую?

– Так, приучился... Жизнюха-вилюха, не жил бы, да надо.

– В который раз ты про этого Дениса Макшеева... Что у тебя с ним произошло? Что не поделили?

И тут Гринька почувствовал, как отец посуровел, рассердился, чего с ним никогда не бывало:

– Замолчь! Чего пытаешь? Ум куда короток, а туда же...

Надежда всхлипнула, и отец тотчас обмяк, начал виниться:

– Доченька... Дурак я, знаю... Я подберу себя. Брошу пить. Вот на пенсию скоро выйду... Гриньке в школу как раз. Да, переедем в Дубровино, купим хатку какую-нибудь. И брошу. Какая в ней радость?

И вот уж больше года живут они в деревне. Надежда вышла замуж за своего Валентина, отец теперь не работает, получает пенсию. А пить так и не бросил...

Гринькины глаза слипались, сон заволакивал сознание. Засыпая, он опять подумал, что отец его непонятный и чудной. Туман у него Татьян, дождь он называет Дементием, выюгу – Акулиной, а пасмурный день – Митрофаном. «Туман – Татьян – понятно, похоже вроде. Дождь – Дементий – тоже на одну букву. А почему выюга – Акулина? Или крепкий мороз – Филарет? Ага, кажись, идет...»

Проснувшись Гринька уже не мог. Откуда-то из другого мира, далекого и нереального, донеслось только до Гриньки знакомое:

А кто ж я такой? Просто так – имярек...

## 2

Уже несколько дней шел то дождь, то снег, землю расхлябило, люди с трудом выдерживали ноги из клейкой дорожной грязи. Небо было серым, низким и промозглым, мир сузился, перемокшие дома, казалось, съезжились и потихоньку оседали вниз, в разжиженную землю. И еще казалось: небо над деревней никогда не распахнется больше, сроду не появится на нем солнце.

Тусклый короткий день был просто длинным сумеречным вечером.

Павел Демидов с толстой палкой в руке вышел за калитку, когда сплошная чернильная темнота залила всю улицу. Кое-где светились окна, бросая желтоватые пятна на дорожную грязь, отчего грязь эта жирно лоснилась.

Перед домом напротив росли густые деревья, свет из окон этого дома не доставал до улицы, запутывался где-то в голых ветках.

В конце улицы, как всегда, горело «волчье око». Демидов помедлил, вздохнул и пошел на его красноватый огонек.

Оконце, через форточку которого Мария Макшеева принимала от ночных покупателей деньги и подавала бутылки, было задернуто занавеской. Демидов постучал в стекло. За красноватой тряпкой качнулась тень, занавеска поползла в сторону, и Павел увидел за стеклом не Марию Макшееву, а усатое, жирное, ненавистное лицо ее мужа, Дениса.

– Сколько? – равнодушно спросил Денис, открыв форточку, не узнавая пока Демидова.

– Одной досыта будет... с твоих-то рук.

Денисовы рыжие брови чуть переломились, он поближе припрянул к стеклу, будто хотел проверить: не ослышался ли, тот ли за окном человек, которому принадлежит голос?

– Давай деньги.

Когда он говорил – тускло поблескивали от электрического света два его вставных металлических зуба.

Протянув с пятерки полную сдачу – Демидов был, наверное, единственным, кому Макшеевы продавали водку по ее настоящей цене, – Денис хотел захлопнуть форточку, но Демидов сунул в створку грязный конец палки.

– Чего, чего еще?

– Не отравленная? Ты ведь грозил когда-то...

– Жри без опаски. Не сдохнешь.

– Марька-то где сама?

– Проваливай! Будет тут пьянчужка всякий... Убери, говорю, палку!

– Жена где, спрашиваю, твоя?

– А на свидание к тебе побегла. А ты тут вот... – В голосе Макшеева была едкая насмешка. – Мне что, за участковым сбегать?

– Это уж сама Марька сделает, когда я, Денисий, придавлю тебя где-нибудь, как таракана сапогом.

Усы у Макшеева от бешенства задергались. Но бешенство его было бессильное, он сам это чувствовал. И ничего не говорил, только багровел все больше и больше.

– Придавлю и разотру, чтоб и праха от тебя на земле не осталось.

По-прежнему молчал Денис, стоял, уронив, как плети, обе руки. Лицо его теперь стало бледнеть, словно какой-то насос начал откачивать с лица всю кровь. А Демидов, понимая состояние Макшеева, безжалостно продолжал:

– Да только что мне участковый? Я жизнь свою использовал, так и так помирать скоро. Но сперва я тебя на тот свет спроважу. Да ты и сам, должно, чуешь, что твоя голова все ниже и ниже к плахе клонится. Чуешь али нет?

Макшеев лишь усмехнулся.

– Врешь, чуешь. Все живое это чувствует. Даже курица, когда ее ловят в курятнике, чтобы лапшу сварить.

– Не пугай. Пуганный я тобой.

– И правильно – бойся, – как бы не слыша его слов, продолжал Демидов, раскрывая форточку чуть пошире. – Я это давно бы сделал, да поджидал, пока дети ваши подрастут. Малых не решился сиротить. А теперь что ж – обоим твоим детям обженились в городе, слышал, на собственные ноги встали... А там пусть приходит за мной хоть сотня участков. Тюрьма мне больше без надобности, на старости-то. Так что живым они меня не найдут. Гриньку Надежда к себе возьмет.

Демидов вынул палку из форточки, наклонился поближе к оконцу и сказал Макшееву, как говорят что-нибудь хорошее близкому другу:

– Конечно, не шибко удачливо ты, Денисий, судьбой своей распорядился.

Макшеев рывком захлопнул форточку, задернул занавеску. Но по тени Демидов видел, что он не отошел от окошка, стоял недвижимо на прежнем месте. Усмехнувшись, Павел покачал на ладони холодную тяжелую бутылку и вдруг, размахнувшись, швырнул ее в бревенчатую стену дома. Бутылка раскололась звонко, но осколки просыпались почему-то беззвучно. Тень за занавеской вздрогнула, будто бутылка попала не в стену, а в самого Дениса, и окошко потухло.

Когда Павел Демидов шел к дому Макшеева, сеял редкий, унылый дождичек, небо, видно, иссякало, выцеживало из себя последки. И вот теперь действительно сверху уже не капало, дул только влажный и тяжелый ветер, бессильный высушить крыши, голые мокрые ветки деревьев, суконную тужурку Демидова.

Павел шагал не к своей мазанке, а так, куда-то, по какому-то переулку, неизвестно зачем. Полчаса назад ему действительно сильно хотелось выпить, сейчас ничего не хотелось.

Многолетняя жизнь в лесу обострила его слух, приспособила его глаза хорошо видеть в темноте. И сейчас он слышал – кто-то хлопает по грязи навстречу ему. А подняв голову, сразу различил, что это Мария Макшеева.

Мария, может, не узнала его, а может, не захотела узнавать – прошла было мимо. Он окликнул ее именем, каким звал в юности, каким звал иногда и теперь:

– Марька...

Она оглянулась, затем пошла еще быстрее, но, сделав несколько шагов, остановилась:

– Ну – что, что?

– Да так я... – произнес Демидов. – Что мне с тобой?

– Гляди-ка, трезвый. – Глаза Марии во мраке чуть поблескивали, и Павел знал, что она глядит на него, как всегда, холодно и враждебно. – Когда ты от водки этой сгоришь только!

– Вот как Денисия твоего прижужу где-нибудь.

– Зверь ты, зверь! Чем он тебе дорогу перешел? Что ты над ним висишь всю жизнь, как... Чем он-то виноват перед тобой? Это я пускай виновата, коли выбрала его, а не тебя. И хорошо, что не тебя! Ты ведь пьянчужка, бирюк лесной. Хватила бы я с тобой горяшка!.. – И Мария заплакала.

– Врешь ты, – сказал ей Демидов с тихим вздохом. – Все врешь.

– Я тебя по-всякому просила – оставь ты нас в покое. У меня семья, дети, я... Что ж я с собой могла поделаться тогда... коли не тебя, а его полюбила.

– Врешь, – повторил Денис. – За меня б вышла, коли б не посадили меня перед войной.

– Никогда! – воскликнула женщина.

– Ветру у тебя в голове много было, это верно, – как-то грустновато произнес Демидов. – Ладно, может, и не за меня. А от Денисия-то ушла даже бы и сейчас, будь твоя воля. Да нету.

Запутал он тебя в грязных Магазиновых делах, завязил сперва в них, как муху в паутине... А теперь тюрьмой пугает. Вон полушалок на тебе и тот ворованный.

– Не трожь ты! – Мария отступила, ударила его по протянутой руке, будто боялась, что он сорвет с ее головы полушалок.

– Водку и ту заставил продавать ночами. С меня только и берете настоящую цену. Куда он деньги-то складывает?

– Как я ненавижу тебя, паразита! – прохрипела Мария, отступая, будто изготавливаясь к прыжку.

– И это неправда, – произнес он с каким-то укором.

Мария зарыдала тяжело, уткнула лицо в концы полушалка. Он терпеливо ждал, пока она выплачется.

– Нет, это правда, – сказала она, вытирая глаза. – Я тебя возненавидела по правде с того дня, когда ты меня там... в лесу в кровь исхлестал ружейным ремнем. И до смерти за это ненавижу буду.

– Не ошибись, гляди, глупая ты баба, – произнес Демидов.

– Ишь ты, как себя ставишь! Поглядите-ка на него! Еще противней ты мне после таких слов!

И она быстро пошла прочь, разбрызгивая резиновыми сапогами грязь. Павел стоял, опершись на палку, глядел ей вслед, будто ожидая, что она вернется.

И она вернулась. Она остановилась сперва, потом резко повернулась, торопливо подбежала к Демидову:

– Вот глупая я... ты произнес. А?

– Я это сказал.

– А почему?

– А ни бабы, ни человека из тебя не выросло. А могло бы и случиться.

В соседнем доме загорелось окно, свет из него упал прямо на Павла, а Мария осталась отрезанная в темноте. Но Демидов увидел ее запрокинутое к нему лицо, действительно холодное и враждебное.

И все равно она была красивая, Мария. Она была на четырнадцать лет моложе Павла, ей подбиралось под пятьдесят, но время словно не трогало ее. Все такие же гладкие щеки с румянцем («И это не ветер нахлестал», – отметил Демидов), свежие еще губы, которыми она когда-то целовала его жарко и ненасытно, такие же густые, без единой седины волосы. Лишь вокруг глаз стали пробиваться морщинки, да и то едва-едва.

– Оставь ты нас с Денисом в покое, Пашенька! – умоляюще заговорила вдруг она. – Мы старики уж, жизнь сызнова не начнешь... Уедь куда-нибудь, али мы с Денисом уедем, а ты за нами не тащись следом, дай нам пожить спокойно под старость хоть, не преследуй боле. Ты ригу колхозную поджег, в тюрьму угодил – и пошла твоя жизнь наперемол. А Денис при чем?

– Ты?! – вскрикнул он и тяжело задышал. – Денис, значит, ни при чем? Он ни при чем? Н-ну, отвечай?!

Он схватил ее за плечи и сильно затряс.

– Господи, в уме ли ты?! Я закричу, Павел!

Он застонал, отшвырнул ее от себя чуть не в грязь и быстро пошел, почти побежал...

### 3

Тяжелые черные волны хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимания, что весла опасно потрескивают. В непроглядной черноте крохотного речного ветровка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильно, что нос лодки сейчас заскрежетает по галькам.

Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одну за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших на островке, хлопает у ног осенняя обская вода.

Напротив островка вдоль берега была рассыпана деревня Дубровино, сейчас она угадывалась по редковатым огонькам. Среди этих огоньков Демидов безошибочно отыскивал вновь горевшее «волчье око».

«Ты ригу колхозную поджег... А Денис при чем?» Эти слова звучали в ушах Демидова, пока он греб к островку, звучали и сейчас.

«При чем? – тяжело усмехнулся он. – Это можно бы тебе еще раз объяснить. Только что объяснять – и без того все знаешь ведь...»

Потом Павел стал размышлять, что его вот, Демидова, многие называют чудным человеком. А ежели подумать – вся жизнь чудная. Земля вот большая, много на ней места. А бывает так, что двоим на ней тесно. Не разойтись им никак. Да-а, люди-человеки... Много на земле всяких разных живых тварей, а красивше человека нету, с разумом потому что, с сознанием. А раз так – живи и не мешай другому, вон сколько на земле благодати, найдешь свою, зачем другому дорогу переступать? Так нет же... И опять же, ежели с другой стороны взять... Ну ладно, сделал тебе зло кто-то. Не от большого ума, конечно. Пойми и прости, какое бы тяжкое оно, зло, ни было. Ты ж человек все же. А вот он, Павел Демидов, простить не может. Он и простил бы, он и пить бы бросил – все сделал бы Павел Демидов, пойми люди, что он ни в чем не виноват перед собой, перед жизнью, перед людьми.

А не поймут, не поверят... Но это опять же с одной стороны. А с другой – понимать и прощать некому. Здесь, в Дубровине, его жизни никто не знает, кроме Дениса да Марии. Лесник и лесник, пьяница только, мол, да с Макшеевыми почему-то не ладит. Теперь, значит, на пенсии... Знали там, на Енисее, в Красноярском крае. Да и там, в деревне Колмогорово, люди тоже попеременялись – кто уехал, кто приехал, а многие и померли, ведь больше трех десятков лет прошло с тех пор, как... Кто теперь помнит там о нем, Павле Демидове? Кому и зачем кричать: люди, я не виноват! Вот, допустим, можно бы крикнуть было этак на весь мир. И что же? Люди бы и впали в неодумь – полоумный, что ли, орет? И – оно действительно... Так, значит, что ж, по таким-то рассуждениям вроде и простить ему, Денису Макшееву, можно? А я не прощаю, ношу эту обиду в себе, как курица яйцо, и снести не могу. Отравляю ему и себе жизнь...

Так думал Павел Демидов, чувствуя одновременно, что он какой-то не такой уже, каким был даже вчера, что в нем происходит что-то непонятное, подбирается к его сердцу какая-то доброта, ненужная ему и, вообще, предательская. Гринька, когда вырастет, не одобрит, должно быть, такой доброты...

Огоньки на берегу становились все реже, гасли один за другим. А «волчье око» все продолжало гореть, прокалывало темень неприятно-красным светом. Демидов глядел на него, и в груди, под черевом – везде вскипала у него кровь будто: «Не прощу, нет... Не могу!»

Он закрыл глаза, откинулся назад, ударился затылком о земляной обрывчик. Он очень плотно, до ломоты в веках, зажмурил глаза, а все равно видел «волчье око»: оно горело и горело...

## 4

Начало жизни Демидова складывалось не хорошо и не плохо. Он родился и вырос на берегу Енисея, реки малорыбной, зато неописуемо красивой. Отец погиб в партизанах – он был в отряде легендарного Каландарашвили. Мать, тихонькая, маленькая, робкая – она все почему-то держала заскорузлые от работы руки под фартуком, точно стеснялась показывать

их людям, – как и другие, вступила в Колмогоровский колхоз. И Демидов работал в колхозе, потом служил действительную, вернулся с нее в начале тридцатых годов.

– Теперь жениться бы те, Пашенька, – говорила мать несколько раз. – Я уж слаба стала. С женитьбой как-то не получалось. А потом стал ждать, когда подрастет Мария.

Мария росла хохотушкой – этим и привлекла сперва его внимание. В четырнадцать лет она была уже стройной, грудастой, туготелой. В шестнадцать хорошо научилась целоваться, он, Павел, ее научил. Целовал ее, но и в мыслях никогда не было, чтоб тронуть, понимал – рано и ни к чему до свадьбы.

– А когда же свадьба-то? – спрашивала она частенько.

– Скоро. Подрасти еще. Порода чтоб крепше от нас пошла.

Когда Марии исполнилось семнадцать, в Колмогоровском сельсовете появился новый работник – Денис Макшеев. Он был примерно одноклассник Павла, тоже отслужил давно действительную, ходил по деревне в полувоенном френче, синих галифе и хромовых сапогах. И еще – от него всегда пахло одеколоном. По тем годам это было невидалью в деревне – девок осуждали, если чем помажутся, а мужику-то и вовсе позор.

Откуда Макшеев родом – было неизвестно. Деревенские бабенки глухо поговаривали, что вроде из самого города Красноярска, где родитель его держал будто бы когда-то не то мучной лабаз, не то булочную. Но бабье есть бабье, к их сплетням никто всерьез не относился. Да и не было ни для кого нужды устанавливать родословную приезжего. Те, которые поставили его выписывать разные справки в сельсовете, знали, наверное, кого ставят, им, значит, было виднее.

Однажды Павел застал на берегу Енисея Марию и Дениса. Денис что-то рассказывал, картинно красовался, поставив одну ногу, обтянутую плотно синей штаниной, на крупный камень. Мария заливалась смехом, сидя на носу лодки.

– Занятный он, – сказала она, когда Павел увел ее с берега.

Это было где-то в мае тридцать восьмого. По осени Демидов намеревался сыграть свадьбу, мать тихонько собирала к этому дню все необходимое.

Хороша бабенка, да не планида ей горизонт увидеть, – сказал как-то Денис Павлу, встретив его среди деревни.

– Как понять? – насторожился Павел.

– Ей муж-то надобен с кругозором. А в тебе какой интеллигент? Ты ведь, дядя, цветок нюхаешь, а запаху не чувствуешь.

Демидов высоко себя не ставил, но и низко не опускал. И потом, он был не какой-то робкий недоносок – и тут же схватил Макшеева за отвороты френча:

– Ты! Приподниму и опущу об землю. Только шмякнешь!

– Убери крючки, ну! – побагровел Денис, схватил Павловы руки за запястья, оторвал от френча. Он, Денис, тоже силенку имел. – Обломлю – и в Енисей кину. Я, дядя, решительный. В кавалерии служил и лозу лихо рубил.

Они разошлись, красные, взъерошенные, оба чувствуя, что еще сойдутся.

– Зачем ты ему о свадьбе сказала? – спросил в тот же вечер Павел у Марии.

– А занятный он, – ответила она, как и в первый раз. – Да что он нам, ты не думай...

Но Демидов думал, потому что нет-нет да и заставлял где-нибудь Марию в компании Макшеева. Она с хохотками уверяла, будто встретила с ним случайно и только что.

А однажды произнесла с обидой за Макшеева:

– Ты его не любишь, я вижу. А в нем интеллигенту-то побольше, чем во всех деревенских парнях.

– Во-он как! Так ты что ж, за него и выходи.

И тут Мария зарыдала, прижалась к нему:

– Пашенька! Я тебя, тебя люблю... А когда с ним – вроде бы не тебя, а его... Убереги меня от него! Я не знаю как – только убереги. Иначе – быть греху...

– Ладно, – угрожающе произнес Демидов и пошагал в сельсовет.

В сельсовете они поговорили с Макшеевым тихо и мирно, как добрые товарищи. Из сельсовета вышли и пошагали рядом, плечо в плечо, по улице, за деревню. Макшеев шел, грыз семечки и равнодушно плевался шелухой.

За Колмогоровой сразу начиналась тайга, они отыскивали глухую поляну, Макшеев снял френч, а Демидов – пиджак и верхнюю рубаху. Каждый аккуратно свернул свою одежду и положил на траву.

Дрались они долго, молчаливо, в кровь, все больше наливаясь свирепой угрюмостью, изорвав друг на друге нательные рубахи. Договорились – пока один из них не упадет без сознания. Лежачего, как известно, не добивают, но зато уж устоявшему на ногах достается Мария.

Устояли оба, только до дна выдохлись. У Демидова текла кровь даже из ушей, Макшеев выплюнул два передних зуба.

– Будет, – прохрипел Денис, обтирая клочьями рубахи кровь с лица.

– Признаешь, что слабозильнее? – тоже с хрипом спросил Павел.

– Ни в жисть.

– Тогда погодь одеваться, лабазник! До окончности давай, как договорено.

Демидов качнулся было к Макшееву, но тот поднял с земли увесистый еловый сук.

– Ты что?! Договорились – на кулаках только.

– Подходи... Я покажу, как договорились!

На всякий случай Демидов пошарил под деревом, тоже нащупал крепкую палку.

– Скажу те так, хамло навозное, – тяжело дыша, проговорил Макшеев. – Лабазник я али еще кто там, а Марии не видать тебе все одно. Отказывайся лучше добровольно. Иначе – икать всю жизнь будешь. Это я тя заставляю, найду способ. Я, дядя, решительный.

– Жди, как же. Сиди дома и гляди в окошко – не идет ли Пашка Демидов, не ведет ли тебе Марьку за руку: вот, мол, возьми.

– Ну – я сказал, а ты слышал. И значит – судьбу свою добровольно выбрал...

...Не знал тогда Павел, что за человек Макшеев, предположить и близко не мог, что за судьбу он ему уготовил.

Отпыхало лето, блекнуть стало небо, и вскоре густо посыпался древесный лист. Как-то допоздна засиделся Демидов у родителей Марии, обговаривая круг гостей, которых через неделю предстояло звать на свадьбу. Под конец попробовали самогонки, которую Марькина мать накурила для свадьбы. Кувшинчик принесла сама Марька, бледная какая-то, с опущенными глазами. Когда разливала по стаканам, пальцы ее подрагивали.

Прощаясь с Павлом, подняла все же свои густые ресницы. Зрачки ее сильно расплылись, были огромными, в широко распахнутых теперь глазах стоял ужас, какой-то немой крик.

– Ты что, Марька? – спросил Демидов.

– Пашенька... Давит отчего-то все у меня внутри... – Она припала к нему. Павел слышал, как бешено молотит в ее груди сердце.

– Устала, видно. Ты ляг пойд...

– Я лягу, лягу... Еще, может, стаканчик выпьешь?

– Что ж, давай.

Когда Марька наливала этот стакан, дрожали у нее не только руки, но и спина.

– пей... на здоровье.

Голос у нее был теперь чужой, незнакомый, и в глазах не стояло уже ни ужаса, ни беззвучного крика. Они были, ее глаза, бессмысленными, пустыми, до дна выгоревшими. Как ни пьян был Демидов, он все это заметил, еще раз спросил:

– Да что, в самом деле, такое с тобой?

– Ой, Пашка! Женское сердце вещун, говорят... – выдохнула она, вжалась в стену. – А у меня такое чувство, будто последний раз видимся...

Последний не последний, но долго потом не пришлось им увидеть друг друга. Добрый десяток лет с гаком.

Самогонка оказалась зверь зверем, в голове у Демидова шумело, августовские звезды пошатывались на небе.

Когда он шагнул мимо колхозной риги, из-за хлебной скирды вышел Денис Макшеев.

– Ну вот... Долго я ждал такого случая.

– Отойди, я пьяный, – попросил Демидов.

– Это нам и сподручно, дядя, – проговорил, шепелявя, Макшеев и чем-то твердым ударил Павла по голове. Демидов качнулся и рухнул наземь.

Потом Макшеев безжалостно пинал его сапогами в голову, в грудь, в лицо. Павел только глухо и беспомощно стонал, пока не потерял сознание. Потерял он, видимо, его ненадолго, потому что, когда открыл глаза, Макшеев был тут же. Он будто по нужде сидел на корточках у хлебной скирды. И вдруг Демидов увидел – из-под руки Макшеева змейкой пополз огонек, начал лизать, разрастаясь, угол хлебного зарода. Даже в темноте было видно, как за клубился черный тяжелый дым.

– Ты! Ты чего делаешь?! – будто задыхаясь от этого дыма, прокричал Павел, попробовал приподняться на локтях. – Ты чего сделал?!

– А это не я... Это ты, дядя, сделал, – проговорил Макшеев и, хищно ощерясь, стал приближаться к нему от пылающей скирды. – И сейчас люди об этом узнают.

Голова Павла мотнулась и будто оторвалась. Опять потухающим сознанием Демидов сообразил, что Макшеев снова пнул его сапогом, снова, крича теперь на всю деревню, призывая людей на помощь, принялся его избивать, но боли не чувствовал. Вспухло перед ним что-то большое, оранжево-красное, разрослось и лопнуло беззвучно...

...За поджог колхозной риги (дотла сгорело несколько ржаных зародов, молотилка и две веялки) Павла Демидова осудили на десять лет. Что бы он ни говорил в свое оправдание, слова его звучали для всех как-то жалко, неубедительно – так уж все подвел Денис Макшеев, который – достигали до Павла отрывочные слухи – ходил теперь в героях за поимку поджигателя колхозного хлеба на месте преступления.

И покатила жизнь Демидова колесом куда-то в пропасть, все глубже и глубже...

Срок он отбывал в лагере неподалеку от родных мест, строил на мерзлой земле рудник, что ли, какой-то. В сорок втором, осенью, неожиданно посадили его вместе с другими в грязную теплушку, с зарешеченными окнами, повезли неведомо куда. С месяц, наверное, ехали, пока не узнали – на фронт, в штрафной батальон.

Но хоть и штрафной – а полегче все же стало, мир пошире открылся вокруг штрафников – люди обыкновенные, какие живут на земле. Поставил перед собой задачу Демидов: хоть и несправедливо обошлась с ним судьба, а надо доказать, что он человек все же, человеком и останется.

Но, видно, недаром говорят: судьба индейка, а жизнь копейка. Досуха выпил он вроде горькую чашу, да самая горечь на самом доньшке еще оставалась. И ее довелось выхлебнуть.

В первом же бою был он захвачен в плен.

Случилось это в ноябре, под станцией Качалинской. В ту пору ходили слухи, что Красная Армия готовится к могучим боям, чтобы отбросить фашистов от Сталинграда. И бои эти, по всему видно было, начались.

Их штрафному батальону поставили задачу во что бы то ни стало преодолеть полузамерзшую реку Дон, достичь другого берега, зацепиться за него и любой ценой удержать.

– Форсировать-то будут в другом месте, а нас – на убой кидают, чтоб внимание немцев отвлечь, – сказал Демидову какой-то солдат из уголовников перед началом операции.

– Что ж, штрафники и есть штрафники.  
– Оно так... А зазря-то на убой... На середине лед, говорят, совсем тонкий. Перетопнем еще.

– Заткнись, ты! – глухо кинул Демидов.  
– Слушай, кореш... Я видел на занятиях – метко ты из винтовки лепишь, – не унимался рыжий. – А наше дело такое – до первого ранения, до первой крови.

– Ну? – насторожился Демидов.

– Вот тут в гомонце у меня пара кусков. И бока золотые.

– Что-что?

– Две тысячи, говорю, денег. И часы. Вот возьми. И один кусок... Сейчас, перед атакой, артподготовка начнется. Отойдем в овражек, а? Лупанешь меня из винтовки по левой руке... Ведь так и так... Грохот будет – выстрела никто не услышит. И я тебе другой кусок... Уцелеешь коли – пригодятся...

– Давай! – сурово проговорил Демидов. – Все давай! И вторую тыщу.

На первых порах заключения Павел боялся всякой шпаны, а потом уяснил: эта сволочь силу уважает, подчиняется ей беспрекословно, и еще – наглость. И он научился управляться с этим народом. Поэтому сейчас, получив часы и деньги, он не торопясь спрятал все в карман. Потом развернулся и тяжело, с придыхом ударил жестким кулаком прямо в широкоскулое лицо уголовника. Тот отлетел в снег, быстро вскочил, вытирая кровь с подбородка.

– Сука, – спокойно сказал Демидов. – Я тебе не по руке, в самую голову прицельюсь, ежели ты во время дела начнешь за спины других прятаться. И не промахнусь, не надейся. Впереди меня пойдешь. И – гляди у меня!

По растерянным глазам уголовника Павел видел, что сломал его, подчинил себе без остатка, хотя, конечно, понимал, что при удобном случае рыжий без колебаний пристрелит его. Но случай такой должен еще наступить, а Павел не лыком теперь шит...

Этот эпизод почему-то вселил в Павла уверенность, что он останется жив.

И остался, да лучше бы не оставаться.

Из затеи форсировать в тот день реку ничего не вышло, почти весь штрафбат напрасно полег на льду. От фашистской пули упал, опрокинувшись на спину, и рыжий уголовник, добросовестно бежавший все время впереди Павла. А тут и самого Демидова садануло в голову, она мотнулась, как когда-то от пинка Макшеева, больно заныли шейные позвонки.

Это было последнее, что почувствовал или запомнил краем сознания Демидов. Очнулся он где-то в тесном вонючем бараке, услышал непривычную немецкую речь, сразу, без удивления и почему-то даже без досады, понял, где очутился. «Ах, Макшеев Денисий, ну погоди!» – подумал он только, как думал и прежде бесчисленное количество дней и ночей, но на этот раз безразлично как-то, равнодушно, без злобы к нему. Внутри у Демидова словно ничего не было теперь живого, все онемело.

Таким онемевшим, отупевшим, безразличным ко всему, что с ним происходило, он и остался на многие годы. Это, наверное, и помогло ему выжить.

Немцы знали, что он штрафник, считали за бывшего уголовника, вербовали в какую-то власовскую армию, даже уговаривали. Демидов не знал, что это такое, но отказывался. Уговоры сменялись избиениями...

Неожиданно от него почему-то отступились, отправили в концлагерь на территории Польши. Там он был уборщиком трупов, каждое утро собирал их по всему лагерю и свозил на пегой лошаденке к крематорию.

Он возил их и возил до января сорок пятого года, к этому привыкли и узники, и сами немцы. Он никогда не брился, редко стригся. Густо и безобразно заросший волосом, походил на старика, ни сами немцы, ни узники вроде уж и не принимали его за заключенного, а считали вольнонаемным уборщиком трупов, к тому же полудиотом.

Советская Армия захватила лагерь военнопленных стремительно и неожиданно. Даже в отдалении боев никаких не было слышно, пролетали только в последнее время на большой высоте над лагерем советские самолеты, и вдруг утром, перед самой зарей, в бараках послышался лязг железа. Узники высыпали на плац, и Демидов выскочил – за колючей проволокой, обтекая лагерь, грохоча гусеницами и воя моторами, стремительно неслись куда-то танки. «Куда ж они торопко так?» – подумал Демидов, убежденный, что это немецкие танки.

И вдруг один из них круто повернул, порвал, как паутину, туго натянутую колючую проволоку и остановился, поводя из стороны в сторону длинным пушечным стволом, будто выбирая, куда бы вклепить снаряд. И Демидов увидел на его броне пятиконечную звезду...

...Утром, когда рассвело, Павел стоял, комкая лагерную шапку, в толпе воющих, плачущих от радости заключенных, ждал своей очереди к представителям Советской Армии, составляющим списки бывших узников.

– Погодите, это что за чучело? – спросил кто-то, едва Павел переступил порог. – Откуда такой?

– Я русский. Демидов по фамилии.

– Ты ж облик человеческий совсем потерял.

– Кто ж тут его сохранил?

– Где в плен попал?

– На Дону где-то. Из штрафников я.

– За что в штрафники угодил?

– Осужденный был. За то, что будто бы колхозную ригу сжег.

– Как – будто бы?

– Я не поджигал. Денисий Макшеев поджег. А я жениться хотел на Марии. Оттого все и началось...

– Погоди, погоди, старик... Он полоумный, кажется.

– Нет, в уме покуда. И не старик – мне сорока нет пока еще. Вы послушайте...

Демидова выслушали терпеливо. Рассказывая обо всем, что с ним произошло, Павел увидел, что ему не верили.

– Да, тут разобраться не так-то просто, – сказал офицер с двумя полосками на погонах. – И не наше это дело.

– Да чье бы ни было – все едино не разберутся, – обреченно махнул рукой Демидов. – Лучше уж посадите до конца срок отсидеть, который мне даден.

...И еще три года мыкался Демидов по каким-то пересыльным пунктам, лагерям, по-прежнему безразличный к тому, что с ним происходит.

Он только чувствовал: люди, занимающиеся его судьбой, не знают теперь, что с ним делать.

Наконец в сорок восьмом году Демидова выпустили, обязав три года еще жить на поселении в том же северном районе, где был лагерь.

Но все проходит – прошли и эти добавочные три года. Мог теперь ехать Павел Демидов куда угодно. А куда? Где жизнь доживать? Мать умерла еще до войны, получил он известие как-то. Мария, Денис Макшеев, родное Колмогорово – все это было где-то уже в другом мире, будто за какой-то мутной бесконечной далью, преодолевать которую не было ни смысла, ни желания.

Демидов бы остался, наверное, до конца дней своих в неласковой северной земле, к которой как-то и привык за последние, относительно свободные годы, чем-то и стала дорога она ему, может, незавидной своей холодной судьбой, нелегкой жизнью, если бы не слова тамошнего одного районного начальника. Показались они Демидову самым горьким из всего, что ему довелось испытать.

– Вот ты хочешь у нас в районе остаться, – сказал ему тот человек. – А зачем ты нам такой?

– Какой – такой?

– А вот такой. Не человек, а просто так... имярек.

– Имярек, значит?

– Вот именно. Зачем ты такой стране нашей? Людям нашим?

– Я ни стране, ни людям ничего плохого не делал. Может, и хорошего тоже. Так вы дайте возможность.

– Возможность? У тебя была и есть одна возможность – покончить с собой. Не понимаю, почему ты не воспользовался ею до сих пор.

Почернело у Павла перед глазами, потемнели оконные стекла в кабинете этого человека, будто враз, в одну секунду залила непроглядная темень северный поселок.

Давным-давно, когда только-только осудили, дал зарок себе Павел – не пить больше сроду спиртного. Получив волю, исполнял свято клятву, не брал водки в рот и капли. А тут прямо из кабинета этого начальника пошел в магазин, купил бутылку, вылил в кружку и выпил в три-четыре глотка. Будто воду выглотал, не почуввав горечи. И с удивлением обнаружил – разжало сердце, отпустило туго натянутые по всему телу жилы.

И заплакал Павел Демидов. Все, что с ним было, переносил молча. А тут не выдержал.

– Не прощу, нет... Не могу! – решил он в ту ночь, думая о Макшееве.

## 5

В родные места он приехал ранней весной, когда над Енисеем кричали журавли.

Но с какого боку приткнуться к жизни? Ни на что хорошее он уж не надеялся, отвык от хорошего. И, внутренне чувствуя, что пытается судьбу в последний раз, прямо с поезда пошел в райисполком.

– Объясни мне, значит, гражданин начальник, что я такое за человеческое чучело? В том смысле – стоит дальше мне жить али в самом деле солнечным светом я не имею права пользоваться? – спросил он, зайдя почти без спроса у тонконосой секретарши в кабинет самого председателя райисполкома.

Фамилия у председателя была Агафонов. Толстый, неповоротливый, с заплывшей нездоровым жиром шеей, он, прихмуривая брови, с любопытством оглядывал посетителя.

– Начальник-то я начальник... видишь, раскормленный какой. А все-таки не гражданин, а товарищ... Из заключения, что ли?

– А для меня вся земля – тюрьма без решеток.

– Ишь ты, – усмехнулся тучный Агафонов. – Злой какой. А я вот стих однажды где-то читал: «Солнце светит всем – слепым и зрячим. В этом и величие его...» Это – как?

– Слова-то можно по-всякому составлять.

– Н-да... – Агафонов все так же внимательно разглядывал Демидова. – Ну-ка, чучело, себя замучило, рассказывай...

И впервые за многие годы почувствовал Демидов, что не вся земля в подлецах, слишком большая она для этого.

Он рассказал толстому Агафонову о своей жизни все, не утаив даже и малейшей подробности.

Тот слушал не перебивая, только хмурился и мял кулаком жирный подбородок.

– Н-да... – опять он произнес, когда Павел кончил. – Что я тебе скажу, товарищ Демидов? Зло – оно само себя показывает, а добро еще увидеть надо.

– Это как же понять?

– А так... Я вот думаю: самое полезное для тебя сейчас будет – пожить где-нибудь в стороне от людей, один на один с природой. Пособлю я, скажем, бакенщиком тебе устроиться на Енисее. А еще лучше – лесником.

– Значит, возле людей мне так и нету теперь места? – Вся удушливая горечь опять прихлестнула к самому горлу.

– А ты поверь мне, Демидов. Вот хозяйка хлеба из печки когда вынет – сперва в прохладное место их составит, полотенчиком чистым прикроет – отдохнуть от жара. И отмякнет он, хлеб, духу земного наберет. А люди? Людей и в лесу много.

– Ты из крестьян, видать? – Горечь сама собой отхлынула от горла, только на Агафонова смотреть почему-то было неудобно, ощутил он ни с того ни с сего и какую-то вину перед этим человеком.

– Нет, я таежник в прошлом. И лесником долго служил. Вот сейчас как вспомню – заноеет сердце от тоски. Лес, природа вообще – это высший разум, какой есть под солнцем. Научишься все это видеть и понимать – и обнаружишь в себе человека. А это для тебя – еще задача, уж поверь мне.

Демидов и понимал и не понимал, о чем говорит Агафонов. Но чувствовал – надо ему верить. И неожиданно для себя произнес:

– Да-а, хороший ты, должно быть, человек.

– А это люди по-разному считают, – усмехнулся Агафонов. – Так что ж, позвонить мне насчет тебя в лесничество? Не подведешь меня?

– Ты мою жизнь всю слышал. Меня вон сколько подводили, а я вроде никого пока.

– А ты поубавь-ка злости! – рассердился вдруг Агафонов, покраснел как от натуги. – «Меня вон сколько...» А сколько? Все люди будто тем лишь и занимались. Один раз только, один подлец... Это надо тебе сразу, тут же понять!

– Оно и раз, да досыта. Он, сволота, так и сказал: «Икать всю жизнь будешь». И вот – наикался! Меня тоже понять не худо бы.

– Значит, ты ему не простишь? Мстить собираешься? – Агафонов, взявший было телефонную трубку, положил ее на место.

– А он что, Макшеев, живой? – быстро произнес Демидов. – Ты знаешь его?

– Не знал бы, может, и небывалым посчитал все, что случилось с тобой.

– Где ж он живет-поживает?

– Там же и поживает, в Колмогорове. Женатый на этой твоей Марии.

Демидов сидел согнувшись, оперев локти в колени, лицо уронил в ладони, тяжело, с загнанным хрипом дышал. Агафонов не говорил теперь ни слова. Павел знал – он ждет ответа на свой последний вопрос.

– А ты... ты вот прости бы ему, доведись это с тобой? Ты не отомстил бы?

– Я? Простить – не знаю, не прости бы, кажется. А мстить, мारаться об него – побрезговал бы. Себе дороже.

– А я себя дорого теперь не ценю! – со злостью выкрикнул Демидов.

Они помолчали, будто каждый размышлял про себя, что же им делать, как разойтись? Наконец Демидов произнес с трудом, не глядя на Агафонова:

– И дети у них... у Макшеевых, имеются?

– Двое, кажется, сын и дочь.

Демидов еще посидел немного и, гремя стулом, тяжело, неуклюже поднялся:

– Ладно... Не встречу я тебя... такого, – кроваво отомстил бы ему. Теперь – не трону. Действием – не трону. А простить, как и ты вот говоришь, – не смогу. Это уж как хочешь.

– Как понять – «действием не трону»?

– Неужели не понятно?

– Чем же тронешь?

– Не знаю. Ничего не знаю. Позвони в лесничество.  
Попрощавшись, пошел из кабинета, но вдруг остановился, проговорил:  
– Это вот, про стих – хорошо ты. Солнышко светит всем – и зрячим и слепым. Ведь просто, а верно.  
– Правильно, Демидов! – обрадованно, с облегчением, как показалось Павлу, произнес Агафонов.  
– И еще, должно быть, ты верно сказал: это для меня задача – обнаружить в себе человека. Тут ты корень какой-то глубокий задел.  
– Не задача, а ползадачи уже, – улыбнулся Агафонов.  
– Нет, обманываешься, – упрямо повторил Демидов. – Что ум рассудит, то еще сердце пронять должно. А это – задача.

## 6

...И стал работать Демидов лесником близ Колмогорова.  
Прав оказался толстый Агафонов. Вечный шум леса, птичьи звоны, говор таежных речушек действовали успокаивающе, душа Демидова отходила. Прав он был, что и людей в лесу много: охотники, рыбаки, ягодницы, грибники... Не было и дня, чтобы он не встретился с кем-то из людей, со многими подружился даже. Таким указывал лучшие ягодные, рыбные и грибные места.  
С удивлением он обнаружил, что люди как-то быстро располагались к нему, молодые звали дядя Паша, а кто постарше – Павлом Григорьевичем. И он заметил еще – почему-то всегда доверчиво относились к нему бабы-ягодницы, без опаски шли за ним в самые глухие места, какие бы он ни указывал. Видно, молва шла о нем хорошая, добрая. И то сказать – ни разу ни одним словом, ни намеком не обидел он ни одну женщину.  
Не удержался он лишь однажды, когда незнакомая колмогоровская – видно, из приезжих – бабенка Настасья откровенно упрямившим взглядом заставила его присесть с ней на ласковую, травянистую полянку. Было ей лет под сорок, крепкая и чистая, она и потом прибежала к нему в лес, приходила, таясь и краснея, в его сторожку, ночевала иногда. Она, овдовевшая еще в сорок четвертом, согрела его щедрым женским теплом, пробудила в нем что-то неприятное, тоскующее.  
– Вышла бы я за тебя, Павел, – сказала она однажды. – И не было бы счастливей меня бабы... Да не могу, дети отца живого помнят, не примут никогда тебя. Переломается все в душе их...  
– Ты, Настасья, хорошая, сердце у тебя золотое, – ответил ей на это Демидов. – Но не обессудь – не взял бы я тебя. И никого никогда не возьму, один буду...  
– Это почему, Павел? – спросила она, глядя на него с материнской тревогой. – Я вот давно примечаю – замерзлая у тебя душа будто, захлопнутая какая-то. Что такое у тебя в жизни вышло? Человек ты добрый, ласковый, а вот один. Попиваешь чуть не каждый день... Отчего?  
– Не спрашивай об том. Не к чему людям знать... Как там Макшеевы у вас живут?  
– Денис с Марией-продавщицей, что ли? А кто их знает... Денис этот – клещ из клещей, должно. А тебе-то почто? – спросила она, ревниво пошевеливая бровями.  
– Так... Знал я их в молодости. Потом... Потом уехать с этих мест надолго пришлось. А это как – из клещей?  
– Сосет он, сдается мне, кровь из бабы. Он на фронте был, приехал с костылем, привез две брички всякого барахла – не знаю уж, кто ему надавал его. Подарки, говорит, герою-фронтовику. Дом сразу крепкий поставил. Да и без подарков этих жизнь у них – полная чаша. Продавщица она, Мария, без стыда обвешивает, обсчитывает, обмеривает. И окромя того – без совести ворует.

– Ты откуда знаешь? – с обидой даже спросил Демидов.

– Я что, слепая? Да и люди говорят. Еще когда он на фронт поехал – жену продавщицей поставил. Он, говорят, до войны председателем сельсовета был. От какого-то поджигателя колхоз, что ли, спас, ну его в председатели и поставили.

– Во-он что, – буркнул Демидов. – Как героя.

– Герой, задница с дырой. Сейчас боров боровом, а не работает. Инвалид войны, говорит. Костыль давно бросил. А слух в народе живет – жену с магазину все тянуть заставляет. Даже бьет, говорят, коли за месяц меньше его расчёту стащит.

– Так уж и бьет? Так уж и план ей на воровство спускает? – опять с явной обидой промолвил Демидов. – Кто этому свидетель?

– От людской молвы чего утаишь?

– Мало ли о чем болтают...

– Павел! Ты спрашиваешь, я отвечаю, как оно есть. А ты будто обижаешься на мои слова. Что они тебе, Макшеевы?

– Ничего.

Так и не разъяснил он ей ничего, оставил в недоумении.

То, что рассказала ему Настасья, Павел знал и из осторожных расспросов других. Все говорили примерно одно и то же. И ненависть к этому человеку наплаивалась слой за слоем, росла, как снежный ком, катящийся с горы.

Лицом к лицу с Денисом, однако, никогда не встречался, хотя рядом с ним бывал часто. Поедет ли Макшеев за хворостом, пойдет ли ловить рыбу – рыбак он был заядлый, ловил, правда, всегда удочкой, не браконьерничал, – Демидов, научившийся ходить по лесу бесшумно, не один километр прошагает, бывало, за ним следом, не один час просидит в береговых зарослях, наблюдая, как таскает Денис окуней или хариусов. Ловя рыбу, он глох ко всему окружающему, лицо его делалось бессмысленно счастливым, удовлетворенным. Сняв с крючка сильную рыбину, он почти каждую, прежде чем бросить ее в ведро, некоторое время держал в руке. И Павел, глядя на Макшеева, догадывался и понимал, что тому нравится ощущать, как упруго выгибается рыбина, бессильная теперь вырваться из его кулака.

В сердце Демидова в такие минуты толчками долбила кровь, мелькала, затуманивая глаза, страшная мысль: прицелиться из ружья в это взмокшее от животной радости лицо, да и... Но каждый раз в ушах колотились со звоном слова Агафонова: «А мстить, мараться об него – побрезговал бы...»

С Марией Демидов тоже никогда не встречался, водку, к которой, отчетливо сознавая весь ужас этого, пристрастился окончательно, покупал в соседних деревушках. Но однажды, понаблюдав вот так за Макшеевым, не таясь вышел из кустов и, закинув ружье за спину, пошел в Колмогорово. Макшеев, увидев поднявшегося из зарослей бородатого человека, вздрогнул, вскочил на ноги. Узнал или нет Макшеев его, Павел понять не мог, но видел, что тот испугался до смерти, даже челюсть бессильно отвисла.

«Не узнал, где узнать... – думал Павел всю дорогу, вплоть до деревни. – А в штаны наклал, дядя. Не тот, видать, стал ты, Денисий. Ну погоди, погоди... Действием я тебя и в самом деле не трону...»

Демидов направился было к магазину, но на дверях висел замок. Тогда он спросил у кого-то, где живут Макшеевы.

Через порог их дома он переступил, зная, как отомстить Макшееву за изломанную свою жизнь. Переступил и сказал жене Дениса, которая гладила электрическим утюгом белье:

– Здравствуй, Марька. Вот я пришел... Должок твоему мужу отдать.

– Какой должок? – повернула она красивое лицо к Демидову. – Ты кто такой? Чего у Дениса брал?

– Да я ничего. Это он у меня брал. Всю жизнь он у меня взял...

– Погоди, что мелешь? Какую жизнь...

– А какая бывает у человека? Взял – и переломил через колено, как сухой прут.

И прежде чем замолк его голос, узнала она, кто стоит перед ней, опустила раскаленный утюг на дорожную шелковую рубашку мужа. Вмиг отлила вся кровь с ее лица, глаза сделались круглыми, закричала она беззвучно от боли. А голосом, глухим и осипшим, произнесла:

– Павел!..

Отмахнулась дверь, вбежал Денис Макшеев – он, видимо, шел, обеспокоенный до края, следом за Демидовым. Вбежал, глянул с порога на Павла, челюсть его опять отвалилась и теперь затряслась. Заблестели в темном рту металлические зубы. Мария отшатнулась к мужу, и оба они раздавленно прижались к стене.

– Это он, он... Павел Демидов! – выдохнула Мария. – Откуда ты?!

– Я вижу, вижу... – как ребенок проговорил Макшеев. Глаза его трусливо бегали, не зная, на чем остановиться.

– С того света, – усмехнулся Демидов.

– Я говорила – он придет, придет...

Запахло паленым. Демидов, не снимая ружья с плеча, подошел к столу, поднял утюг.

– Какую рубаху испортили, – сказал он ровно, без сожаления. Потом сел тут же, у стола, на табурет, поставил ружье между ног.

– Ну, слушай, Мария, чего он у меня взял, какой долг я должен заплатить ему. Я все расскажу, а ты, Мария, запоминай.

И он долго рассказывал им, не торопясь, без злости в голосе, все-все, как рассказывал не так давно Агафонову. Рассказывал, будто о ком-то постороннем, а они слушали, все так же прижавшись друг к другу, не шелохнувшись, не в силах прервать его. Лицо Макшеева только мокло все обильнее, с него капало.

– Ну а остаток жизни мне ни к чему теперь, не дорожу я им, – стал заканчивать Демидов. – Но уйду я в могилу чуть попозже тебя, Денисий. То есть прежде расплату с тобой произведу по чести. Я мог бы сотню раз уж произвести ее. Давненько уж этак – ты по лесу идешь или едешь, а я следом, незамеченный, за тобой, скрадываю тебя, как зверя. Сегодня, к примеру, с самой зари наблюдал твоё рыболовство. Или сейчас вот – кто мне помешает расплату сделать? Патрон для тебя давно тут приготовлен. – Демидов похлопал по ружью. – Но... охота мне, дядя, поглядеть, как ты к смерти готовиться будешь. Так что – давай. Бить я тебя перед этим, как ты меня, не буду. Пристрелю просто, как только где... в лесу ли, в поле ли, попадешься мне в ловком месте.

И встал, пошел к порогу.

– Врешь... не посмеешь! – скрипуче выдавил из себя Макшеев, стирая ладонью пот со щек.

– Ну, я сказал, а ты слышал, – произнес Демидов спокойно, зная, что Макшеев помнит свои слова. – Судьбу свою ты добровольно выбрал.

И, не глядя больше на них, вышел.

## 7

И началась у него с Денисом Макшеевым жизнь, как игра в кошки-мышки. Макшеев Денис поверил всем его словам до единого, перетрусил до края, рыбалки прекратил, во всяком случае, в одиночку рыбачить теперь никогда не ходил, держался все время на виду у людей. Демидов в неделю раз заворачивал в магазин Марии за водкой, за всякой снедью и, если в магазине никого не было, спрашивал:

– Как он там, Денисий наш с тобой? Еще жива душа в теле?

Сперва Мария молча отпускала ему товар, брезгливо бросала на прилавок бутылки, сохраняя на красивом лице оскорбленную гордость. Потом начала пошмыгивать носом, беззвучно плакать. А однажды истерично разрыдалась:

– Изверг ты, паразит! Закрыл ты нам всё небо!

– Почему – вам? Ему только. Тебя вот, детей твоих я не трону. Пушай растут.

– Да ведь это, ежели обсказать кому, пожаловаться властям-то, чем ты ему грозишь?!

– А что ж не жалуется? Я разве запрещаю? Пушай идет куда надо, все обсказывает – за что я его хочу, почему... Да и ходить не надо, с участковым милиционером, гляжу, подружился, на рыбалку вместе похаживают. Пусть ему и обскажет все, признается, кто колхозную ригу сжег тогда...

– Как я ненавижу тебя! Как ты встрял поперек моего пути, душегуб проклятый!

– Эвон что! А я так тебя жалею.

– Что-о? – заморгала она мокрыми ресницами.

– А только не убережет его никакой милиционер, так и передай своему Денисию, – оже-сточась, пообещал Демидов.

Вскоре Макшеевы быстренько собрались, продали дом и уехали, держа свой маршрут в тайне. Демидов усмехнулся, пошел к железнодорожному кассиру, тоже рыбаку, с которым познакомился в тайге. Тот, ничего не подозревая, сообщил, что взяли Макшеевы билеты, сдали багаж до одной маленькой станции на берегу Байкала. Демидов уволился с работы, попрощался с плачущей Настасьей, поехал следом. Там поступил опять в лесники, со стороны наблюдал, как устраивались на новом месте Макшеевы. Купили они хороший дом. Мария, как и прежде, стала работать в магазине.

И однажды ранним утром, подождав, пока Макшеев наладит и закинет в озеро удочку, вышел к нему на берег, не снимая с плеча ружья.

– На новоселье, что ль, решил рыбки подловить? Пригласишь и меня, может?

Словно током стегануло Макшеева, вскочил он, сделал шаг назад по обломку скалы, чуть не упал в холодную байкальскую воду. Лицо его было зеленым, под цвет этой воды.

– Не бойся, сейчас не трону, людно тут. Эвон рыбаки на баркасах плывут на промысел.

И повернулся, ушел в тайгу, которая начиналась прямо от берега, оставив ошеломленного, забывшего про свои удочки Дениса на обломке скалы.

...И еще раза два-три меняли местожительство Макшеевы, надеясь скрыться от Демидова. Но он был теперь начеку, следил за каждым их действием, заранее знал их конечный путь. И объявлялся там, едва они как-то устраивались.

Доведенный до отчаяния, Макшеев как-то, пьяный, выкрикнул в лицо Демидову:

– Отравлю, отравлю я тебя, паразита! Заставлю Марию в водку... или в продукт какой мышьяку подсыпать! Сдохнешь, как крыса...

На это Демидов расхохотался прямо ему в лицо и сказал:

– Вот бы хорошо-то! И рук бы я об тебя не замарал, и в тюрьму с Марькой вместе вы бы до конца жизни угодили. Давай... Мне-то жизнь моя и так ненужная, а ты попробуешь, что оно такое тюрьма. Узнаешь, каково оно мне было, об своем поганом нутре поразмыслишь. Время для этого там хватит тебе...

Иногда Демидов думал: неужели Макшеев не догадывается, что он, Демидов, ничего ему не сделает, пальцем даже не тронет, что все его угрозы – пустые звуки? И отвечал себе: видно, не догадывается, дурак. И пусть...

Думал также иногда: а не жестоко ли он наказывает Макшеева? Ну – сделал тот нечеловеческую подлость. Что ж, бог, как говорится, пушай простит ему. Худо ли, бедно ли, жизнь его, Демидова, как-то теперь идет. Девчущку удочерил вот, растет она, приносит ему много забот да еще больше радостей. Теперь и жениться бы, да где найдешь такую, как Настасья. Пить бросить бы, да разве бросишь...

И обливалось сердце Демидова едкой обидой, опьяняла его эта обида пуще водки: нет уж, пушай, мразь такая, и он до конца чашу свою выпьет!

Но все же, наверное, давным-давно отстал бы Демидов от Макшеева Дениса – отходчив русский человек, какую-какую обиду только не простит, – если бы не убеждался время от времени, что душа Дениса еще подлее становится. Нет, угрозы насчет мышьяка Павел не опасался, потому что понимал – Макшеев на это никогда не решится, подлость его – особого рода...

Как-то Мария, выдавая Демидову очередную партию зелья, сказала:

– Зайди к нам, Павел... Денис просил позвать. Поговорить хочет с тобой по-деловому.

– Как, как?

– По-деловому, сказал он.

– Интересно это, однако. Айда.

Денис встретил его, сидя за столом в рубашке-косоворотке. Руки его лежали на столе, пальцы беспрерывно сплетались и расплетались, глаза виляли из стороны в сторону.

– Интересно даже мне, говори. Ну!

– Выйди, Мария. Дверь припри, – приказал Макшеев. – Значит, вот что, Демидов, давай по-мужски. Мне от тебя терпежу больше нету, и я решился...

– На что?

– Не перебивай... – Он опять повилял глазами, не попадая ими на Демидова. – Ты ж понимаешь – я пойду и заявлю: преследуешь ты меня... Угрозы теперь делаешь всякие за то, что разоблачил тебя тогда как поджигателя. И мне, а не тебе поверят.

– А мне это без внимания, что поверят, – усмехнулся Демидов. – Я свое отсидел, и пока с тобой не поквитался – никто больше меня не посадит, заявляй не заявляй...

– Ты погоди...

– А славу себе создашь у людей... Они, люди-то, не знают твоего черного дела, так узнают.

– Погоди, говорю... – Голос его был торопливый и заискивающий. – Давай, чтоб с выгодой и для тебя и для меня.

Сузив глаза, Демидов пристально глядел некоторое время на Макшеева. Спросил:

– Это – как же?

– Что было меж нами – прости... Покаялся уж я бесчисленно раз. Да что ж – не воротишь. Теперь девчушку вот ты взял, растишь...

– Говори прямо, сука! Без обходов.

Макшеев будто не слышал обидного слова.

– Возьми от меня деньги, Павел. Много дам... – Макшеев дышал торопливо и шумно. – Вот, если прямо... Оставь только нас с Марией.

– Так... Сколько же?

– Целую тысячу дам. Дочку тебе растить... Еще больше дам!

– Краденых? Марией наворованных?

– Ты! – Макшеев вскочил, чуть не опрокинув стол. Грудь его ходуном ходила. – Тебе что за забота, какие они?!

Демидов шагнул было к Макшееву, тот откатнулся.

– Дешево, выродок ты человеческий, откупиться хочешь, – раздельно произнес Демидов и ударил ладонью в дверь, выбежал, будто в комнате ему не хватало воздуха.

В сенях он услышал рыданье Марии, примедлил шаг. «Как ты только живешь с ним с таким?» – хотел сказать он, но не сказал. Шаг примедлил, но не остановился.

В другой раз случилось еще более страшное. Было это в причулымской тайге в конце мая или в начале июня – в ту пору уж замолкли соловьи, но кукушки еще продолжали, кажется, кричать тоскливо и безнадежно.

Примерно в полдень, когда лес был пронизан тугими солнечными струями и залит хмельным от млеющих трав жаром, у сторожки Демидова появилась вдруг Мария с плетеной корзиной в руках.

– Ты? – удивленно спросил Павел.

– Вот... грибов поискать.

– Какие пока грибы?

– Масленки пошли уж, рассказывают. Места тут незнакомые мне еще, укажешь, может?

Мария говорила это, поглядывая на возившуюся со щенком приемную дочь Павла Надежду, и лицо ее то бралось тяжелой краской, то бледнело, покрывалось серыми, неприятными пятнами.

Одета она была не по-грибному легко и опрятно, в новую, голубого шелка кофточку с дорогим кружевным воротником, в сильно расклешенную, не мятую еще юбку. Вырез у кофточки был глубокий, оттуда буграми выпирали, как тесто из квашни, рыхлые белые груди, умело прикрытые концами прозрачного шарфика, накинутаго на плечи.

– Ты как невеста, – сдержанно усмехнулся Демидов, запирая в себе ярость.

– Что ж... я пришла, – проговорила она, не глядя на него. – Веди... на грибное место.

– Что ж... пойдем, – в тон ей ответил Демидов. – Ружье сейчас возьму вот.

Догадка, зачем явилась Мария, мелькнула у него сразу же, едва он увидел ее, подходящую к сторожке. Мелькнула, сваривая все внутри: «Неужели и на это она... они, Макшеевы, способны?!» Теперь, после ее слов, всякие сомнения на этот счет исчезли...

Полтора года назад приехали сюда, в причулымье, Макшеевы. Следом, как обычно, явился и Демидов.

– Я тебе давал деньги большие? Давал? – закричал обессиленный вконец от такого неотступного преследования Макшеев, встретив Демидова в поселке.

– Давал, давал, – согласился Павел.

– Что ж тебе еще-то надо? Скажи, сволочь ты такая, что? Какую плату заплатить, чтоб отстал? Дом мы тут купили крестовый, просторный – возьми со всем, что в нем есть. Получай его в придачу к тем деньгам, что обещал, и живи...

Демидов принял дозу спиртного, ставшую давным-давно привычной для него, был добродушен, в хорошем настроении. Бессильная ярость Макшеева веселила его.

– А что ж, надо прикинуть. Значит, те деньги да дом... – проговорил он задумчиво.

– Ну? Бери, бери!

– Н-нет, мало. Еще должок с Марии остается.

– Какой? – осипшим голосом спросил Макшеев.

– Ишь ты! С чьей кровати ты увел-то ее?

– Н-ну?

– Пуцай и она расплатится со мной, – жестко сказал Демидов и пошел прочь, оставив Макшеева столбом стоять посреди пустой улицы.

Демидов сказал и забыл, сказал просто так, чтобы еще больше позлить врага своего. Что ему дом, деньги и все прочие блага мира! Простил бы он своего обидчика и так, если б мог. Да не может...

А Денис Макшеев, видно, принял его слова за чистую монету, и вот – решились они, Макшеевы, вот явилась к нему Мария, не понимая, не догадываясь, что не прощение принесет из тайги своему Денису, а еще большую его, Павла Демидова, ненависть. Вот идет Мария чуть впереди, в общем ладная, пышнотелая женщина, мелькают ее крепкие, в тонких дорогах чулках ноги, не подозревая, что внутри у Павла все немеет и немеет, будто стылью берется, что хочется ему схватить палку, сук какой-нибудь и обломать его об это бесстыжее, раскормленное тело.

Что ж, так оно примерно все и произойдет, решил про себя Демидов. Но перед тем хочется ему еще кое-что спросить у Марии, узнать хочется, до какого предела может быть человеческая низость.

– Нету еще грибов, Мария, – сказал он, останавливаясь на глухой поляне, полыхающей таежными цветами. – Поздно нынче пойдут грибы, и мало их будет. В первый день Масленицы снегу не было, не шел снег, значит, и не грибное нынче лето будет.

Он сел в траву, поставив ружье под дерево. Мария опустилась на корточки, начала рыться в корзинке, вынула и поставила на траву бутылку.

– Раздевайся! – бросил он ей отрывисто.

Она вздрогнула, медленно, с трудом, выпрямилась, руки ее упали вдоль тела.

– Павел... – Лицо ее опять пошло пятнами, вспухло, будто его наели комары. Может... выпьешь сперва?

– Стыдно, что ль, на трезвые глаза? Сымай, сказал, все с себя.

Она еще раз вздрогнула, стащила с головы шарфик.

Демидов сидел, опустив голову, он не видел, но чувствовал, как она с трудом расстегнула и стащила кофточку, сбросила юбку, оставшись в нижней рубашке.

– И это... сымай. Тут никого нету.

И тогда она упала перед ним на колени, заплакала, подвывая:

– Совсем не могу... Пожалей, Павел! Пожалей...

Ему в самом деле стало жалко ее. Возникли вдруг, поднимаясь откуда-то изнутри, злость и презрение к самому себе за то, что он заставил ее раздеваться.

– Вот что скажи, Мария... Объясни. Как это вы договорились до этого? Словами ведь, поди, разговаривали? Днем али ночью это было? Как... как решилась ты?!

– Как, как?! – Полное тело ее все тряслось, волосы рассыпались, щеки, губы расквасились от слез. – Он меня поедом съел: не убудет от тебя, он, может, отстанет тогда от нас...

– А ты?

– Что я?

– В самом деле не противно тебе?

Она замолчала, молчком вытирала слезы.

– Не знаю... Когда-то я любила тебя. Иногда думаю: счастливая ведь я была бы с тобой, кабы не он.

– Что ж не уйдешь от него?

– Не уйдешь... А куда? К кому? Ты разве принял бы меня теперь?

В голосе ее было что-то такое неподдельное, какие-то тоскливые нотки.

Ему еще более стало жаль Марию.

– А вот, допустим, принял бы. Ты видишь – я не женюсь. А почему?

– Павел? – Глаза ее, мокрые, широко раскрытые, сгорали от изумления. – Неужто... Неужто еще ты меня... еще осталось что у тебя ко мне?

– Нет, ничего не осталось, – ответил он. – Все спалила тюрьма, плен потом.

– За плен-то Денис не виноват. И без того на фронт тебя взяли бы, а там могли тебя захватить...

– Ишь ты, хоть где-то, да оправдываешь его? Как все вывела!

Мария испугалась этих слов, сказанных сурово и враждебно, горячими ладонями схватила его руку, но тут же выпустила, чуть отшатнувшись, проговорила:

– Я не оправдываю! Я не оправдываю...

– Вот едзу опять же за вами, таскаюсь, как хвост.

– Так это известно – зачем, почему.

– Известно. – Он скривил губы. – Ничего тебе не известно.

Прилетела тяжелая от взятка пчела, повилась вокруг полураздетой Марии, села зачем-то на ее оголенное плечо. Мария даже не заметила этого. Она все так же изумленно, широко раскрытыми глазами смотрела на Павла, открытый лоб ее бороздили временами набегавшие морщины.

– Нет, я не смогла бы с тобой.

– Почему? Противный шибко стал? Не противней вроде твоего Денисия.

– Не в том дело. С лица воду не пить.

– Почему ж тогда?

– Ты ж, я чувю, запретил бы мне... работать в торговле.

– А зачем? – усмехнулся он. – Работа для людей нужная.

– Ну – не позволил бы... этого... ничего такого.

– Воровать? – подсказал ей Демидов.

– Фу, какое слово!

– Обыкновенное. Воровка ведь ты.

– Ты?! – Она тяжело и гневно задышала. – Ты так понимаешь жизнь, а я – этак. Жить надо умеючи, как... как...

Она совсем задохнулась, и Демидов опять подсказал ей:

– Как Денисий научил тебя?

– Да, научил! – истерично выкрикнула она. – Он, Денис, не в облаках летает, на грешной земле живет. Он – цепкий, не проворонит, что мимо рта пролетает... Он такой, я это еще тогда почувствовала, когда женихались мы с тобой. Он человек жесткий, да... Рука у него тяжелая, да – мужик! Он на что угодно пойдет, лишь бы место половчее... потеплее под солнышком отвоевать. А ты – что такое? Всю жизнь так в тайге и проживешь. Если бы принял ты меня, говоришь? А жить на что бы стали? На твою лесниковую зарплату? Смех один, а не деньги. По миру пойти – больше собрать можно за день...

Она говорила еще долго, он слушал, покачивая иногда головой, будто соглашался. Потом взял ружье и зачем-то отстегнул от него широкий, тяжелый, залоснившийся от грязи и от пота ремень.

– Ты что? – сразу спросила она, умолкнув на полуслове. Брови ее изогнулись и поползли кверху, обещая вот-вот разломиться.

– Он и на это, значит, пошел, чтоб спокойствие на земле обеспечить себе?

– Да, и на это! – будто даже гордясь, выкрикнула она. – И я, по рассуждению, поняла – а что ему остается, коли никак иначе не избавиться от тебя? Не травить же, в самом деле, мышьяком. Была нужда в тюрьме за тебя гнить. Животина ты противная! Исподнюю-то рубаху скидывать, что ли?

Глаза ее горели теперь каким-то бешенством, неумной злобой.

– Исподню не надо, – сказал он и, не вставая, вытянул ее ремнем по плечу.

– Пав... Пашка! – воскликнула она, вскакивая.

– Исподню не надо! – Он тоже поднялся, пошел к ней грузно. Она, закрывая голыми руками лицо, отступала. – Исподню не надо, не надо...

Каждое слово будто прибавляло ему ярости, с каждым словом он хлестал ее все сильнее и безжалостнее – по этим оголенным рукам, по плечам, боясь выхлестнуть ей глаза и все-таки стараясь ударить по лицу.

– Не надо... Не надо! Береги глаза-то, дура!

Наконец она то ли поняла, то ли просто запнулась и упала в траву вниз лицом, прикрыв руками растрепанную голову. Демидов, не уставая, все махал и махал ремнем, уже ничего не приговаривая, крепко стиснув зубы. Легкая нижняя рубашка была давно располосована, на белом жирном теле обозначились синие полосы...

Он прекратил ее хлестать, когда она перестала вздрагивать под ударами.

Бросив в траву ремень, взял под мышку ружье.

– Животное-то не я, а ты! Да еще пуще, видно, твой Денисий. Убирайтесь отседова, чтоб духу вашего я не слышал тут... А я тут человека буду в себе обнаруживать, как мне когда-то один умный человек посоветовал.

И, не заботясь о том, что она не понимает его слов, может быть, даже не слышит их, ушел.

Под осень Макшеевы собрались и ушли на Обь, в село Дубровино. Три года прожил в причудливой тайге Демидов, убеждая себя, что он обнаружил в себе человека и, значит, отстал теперь от Макшеевых навсегда. Но убедить не мог и однажды по весне перевелся в Дубровинское лесничество, что на великой и тихой реке Оби.

## 8

...Давно кончились дожди и всякая слякоть, припорошило снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесные дороги. Гринька целыми днями катался на лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяным от морозца, а Обь все катила мимо мазанки Демидова свои черные тяжелые волны, обтекая заснеженный островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежище, где по первому льду щедро брались на подергушку килограммовые окуни, громадные лещи, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже нельма, редкая теперь в Оби рыба.

Наконец могучая река обессилела окончательно, волны стали ниже и ровнее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течение было на глаз невидимым, но, знал Демидов, тугим и могучим, тянулась полоса чистой воды. У Дубровина стрежень проходил довольно далеко от берега, заворачивал за островок.

Чистая полоса воды день ото дня становилась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась – мороз выжимал из реки последнее тепло, накопленное за лето.

– Ишь мороз-морозило, добрая сила... Молодой, а старательный, – сказал однажды Демидов, глядя на реку.

Гринька привык к неожиданным мыслям отца об окружающих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал их.

– Что хорошего в морозе-то? – возразил он. – Холодно ведь. Кабы лето все время стояло – это лучше.

– Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь... Это как? Без мороза-то бы, без снега? А?

– На лыжах – это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.

– Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловница, земля, не легко утомонить ее, как мне, бывает, тебя. Вот он и ярится, как я. Но разве я со злом покрикиваю на тебя? И он, выходит, тоже по-отцовски ворчит. Разве не добрый он?

– А для чего земле спать ложиться? – спрашивал, сосредоточенный, Гринька.

– А как же, сын! – хмурясь, будто сердясь от Гринькиной непонятливости, говорил Демидов. – Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни – ну-ка? На другой день каков будешь? Бессильный ты будешь... И земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.

– Да что ей отдыхать-то, – не унимался Гринька, – Она – земля и земля, не живая. Не устает.

– Это как – не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам... Утром человек просыпается – румяный, сильный, веселый. И земля весной – тоже. Человек с утра делом начинает заниматься – кто на работу, кто на учебу... И земля тоже за дело с весны принимается – прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают.

Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить – сколько сил надо?

Гринька думал, что-то представлял, видно, себе, отвечал уже осмысленно:

– Да... Много.

– То-то и вопрос. А окромя того – сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры – поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает... И много всего другого. А все для кого, а?

– Что – для кого?

– Земля все это делает?

– Ну так... по природе у нее так получается.

– Для человека все это она делает, Гринька! – пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только сына, но и себя хотел убедить в этом. – Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе – человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?

– Ага.

– Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа... какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость.

Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить тоже не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:

– А подлых-то много людей на земле?

– Встречаются.

– А земля их тоже любит?

– Нет... Не любит таких.

– А почему они подлыми получаются?

– Не знаю... Такими вырастают вот.

– А тебе встречались такие?

– Попадались, сынок.

– А что ты с ними делал?

Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?

– Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж, – заторопился он. И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил: – Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.

– Значит, ты плохо понимаешь?

– Плохо, видно, сынок.

– А я хорошо, – сказал мальчишка, помолчав.

– Ну? – Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал сын, будто и в самом деле Гринька мог сообщить ему что-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.

– Их надо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.

– Что-что? – Демидов сел на постели.

Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.

– Я ведь тоже думал, пап, что земля, наверное, живая и добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться, – сказал Гринька почему-то со вздохом. – И ягодкой в лесу угостит, и с ручейка напоит...

– Ну?..

– А вот ты помнишь – мы еще в сторожке жили – браконьерщик один лося застрелил?

– Как же... Я сколько за ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.

- Ну да. Он еще стрелял в тебя.
- Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.
- Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтобы в лодке уплыть, – ногу в каменной расселине завязил и сломал.
- Так... Так что?
- А то... Добрых людей она любит, а нехороших и сама наказывать умеет. Земля – она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы... – сурово проговорил Гринька. – А ты его... на его же лодке в больницу отвез!
- Так... Так, так, – опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.
- А чего же с ними, раз они... – воскликнул горячо Гринька. – Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.
- Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.
- Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька... – Демидов взбил подушку. – А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик... Да ведь и человек же какой ни на есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?
- А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?
- Да... С одного боку-то, говорю, правильно ты, а с другого...
- С одного, с другого... По справедливости надо действовать, – не сдавался Гринька.
- Справедливость... Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.
- Чего – по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?
- А вот вырастешь – поймешь: есть ли, нету ли... Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.
- Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него.

## 9

Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей наконец-то реки.

Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок – и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровине, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, а вечером в пятницу и нахлынут под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчера еще завезла с райцентра неисчислимое количество ящиков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровине «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждую бутылку без сдачи.

При воспоминании о «волчьем оке» Демидов вдруг подумал, что он с тех пор, как разбил бутылку об стену макшеевского дома, не выпил ни капли. И странное дело – ему не хотелось. «Неужто не потянет больше? Да хоть бы! Гриньку надо доразивать... Побалую-ка его ушицей завтра. Правда, самое уловистое место, самая богатая окунем яма – за стрежнем, поближе к тому берегу, туда еще идти опасно, на самом стрежне лед не окреп. Да и тут, у самого островка, ничего не ловится... Завтра встанет Гринька, а у меня уж уха! Ешь, сынок, да в школу...»

На другой день Павел действительно поднялся до зари, взял приготовленную с вечера наживку, удочку, пешню. Когда вышел на улицу, ночь еще была настоящая, плотная, звезды

горели крупные, перезревшие. Но самая яркая звезда, названия которой Демидов не знал, падала в кустарник на острове. Это означало – скоро будет светать.

Лед, когда Павел шел к острову, тихонько иногда потрескивал. Но треск был нечастый и тихий, неугрожающий, Демидов в этом разбирался. «А вот на стрежень нельзя, – думал он, – там не выдержит, проломится...»

Еще он думал о Гриньке, о том, что так и не сумел разъяснить тогда парнишке, как поступать с подлецами и есть ли на свете самая справедливая справедливость. И что надо теперь, если и потянет к бутылке, ни за что за нее не братья...

Пока шел так, не спеша, и думал – начало зориться, краешек неба на востоке чуть разжижился.

Возле островка Демидов остановился, выбрал место, ударил пешней, с одного раза проткнул ледяную корку. Пешню он положил на лед и не успел разогнуться, как услышал хрипло-истошное:

– Э-эу! Спаси-ите! Люди! Лю-юди!

Голос был искажен смертельным страхом. Но, сколь ни был он искажен, Демидов мгновенно, едва послышались первые звуки, понял, кому принадлежит этот голос. Более того, Павел будто ждал его и не удивился, когда услышал. И еще более того – он уже знал, наверняка знал, что произошло там, за крохотным мыском острова, откуда раздался крик. И внутри у Демидова что-то радостно екнуло, какая-то живая пружина, больно растянутая, соскочила с зарубки, сжалась, в одну секунду уняв многолетнюю боль. «Ага... ага!...» – дважды мелькнуло в мозгу удовлетворенно, успокаивающе. И охватило его чувство, будто неимоверной тяжести работа, которую он делал всю свою жизнь, наконец-то сделана, закончена, цель, к которой он стремился все эти годы, наконец-то достигнута...

Непонятно иногда, что происходит с человеком. И позавчера, и вчера, и сегодняшнее утро Демидов находился в смутном предчувствии чего-то небывало важного для него, ощущая, что приближается, все ближе и ближе подступает что-то такое, ради чего он мучительно жил все эти годы, ради чего, может, и родился. И это «что-то» было не объяснить, не понять...

– Люди-и! Лю-юди! – опять разнеслось над пустынной рекой, под темным холодным небом, на котором горели миллионы звезд, не дававших света.

«Вот оно!.. Вот оно!» – вспышками сверкало в мозгу Демидова, и он, понимая, что надо идти, надо спешить на крик Макшеева, не трогался с места, ноги его будто прикипели к ледяной корке.

Да, непонятно, непонятно иногда, что происходит с человеком. Полчаса назад, выйдя из жилья, и несколькими минутами позже, шагая неторопливо по тонкому льду, Демидов Павел каким-то чутьем ощущал, что Денис Макшеев, ненавистный и смертельный ему враг, где-то здесь, неподалеку. Перебирая в памяти недавний разговор с Гринькой, слушая, как слабенько потрескивает под ногами, Павел думал еще, что неокрепший лед выдержит и грузную тушу Макшеева, лишь сильнее будет прогибаться и трещать. И у Макшеева тоже хватит ума не ходить пока за стрежень, к богатой рыбной зимовальной яме.

– Спаси-ите! – в третий раз донеслось до Павла.

Голос Макшеева был теперь слабый, безнадежный, обреченный. «Ну да, понимает – кто ж услышит в такой час? – равнодушно подумал Демидов. И так же спокойно отметил: – Пошел-таки за стрежень, не хватило ума. И – пушай, Бог-то, видно, есть на свете».

Думая так, Демидов, однако, торопливо шагал уже к островку, приближаясь к песчаному мыску. Почувствовав под ногами присыпанный снегом смерзшийся песок, вдруг обнаружил странное несоответствие своих мыслей и действий. «Пушай, а сам помочь вроде Макшееву тороплюсь! Нет уж... Я только издали гляну – как он... Нет уж?»

Но и подумав так, Демидов не сбавил шага. Выбежав из-за мыска, он увидел впереди, в начинающей синеть темноте, черное пятно на льду, пошел прямо на него, отчетливо понимая,

что идти не надо бы, что тоже может каждую секунду провалиться, ухнуть в холодную воду. Он даже представил себе, как это он ухнет – и сразу с головой. Течение тут сильное, за одну-две секунды тело его пронесет подо льдом на метр-полтора и понесет дальше, он будет биться какое-то время головой об ледяную корку, пытаясь проломить ее, понимая, что не проломить, будет биться, с каждым мгновением задыхаясь все больше. «А там, дома, Гринька спит еще... Он проснется, станет ждать, когда я вернусь с улицы...» Это будет последнее, что мелькнет у него в сознании, мелькнет – и потухнет...

– Скорей! Скорей, милый!

До Макшеева было метров десять. Но то ли этот крик, то ли угрожающий треск под ногами, а может, собственные мысли остановили Демидова, заставили бессознательно лечь на лед. Он лег, растянулся плашмя и ощутил, как больно колотится сердце. «Дурак, и в самом деле чуть не булькнул. А за-ради чего бы?...» И еще ощутил под животом, под грудью, под локтями ужасную бездонную пучину, прикрытую тонкой и хрупкой скорлупкой, услышал, хоть и понимал, что слышать этого нельзя, как тугие струи лижут из-под низу эту скорлупу, «Назад, назад! – стрелял кто-то ему торопливо в самый мозг. – Змеей ползи назад... встать теперь не вздумай!...»

– Еще маленько придвинься, милый, – прохрипел Макшеев. – Лед сдержит. И брось мне чего-нибудь... Ремень...

– А ведь я это, Денисий.

– О-о-о!

Бессильная ярость, обреченность, предсмертный хрип – все было в этом возгласе Макшеева, разрезавшем стылый воздух. Демидов ясно различил каждый оттенок в его голосе, усмехнулся, опять чувствуя удовлетворение, холодок в своем сердце.

«А может, нахолодало оно сквозь полушубок ото льда?» – явилась вдруг откуда-то к нему непонятная мысль и заставила поморщиться.

Утро занималось по-зимнему трудно и медленно, темнота все больше наливалась синевой и, казалось, не рассасывалась, а плотнела.

Но Демидов все отлично видел в этой предрассветной мгле, различал даже потухающий блеск Макшеевых глаз.

Голова его торчала из полыньи, не очень широкой, но длинной, метров в шесть... Поперек полыньи лежал шест. Макшеев, обессиленный, висел на нем, а тугое сильное течение пыталось оторвать его тело от шеста, уволочь под ледяную корку ногами вперед. «Видно, все же понимал, что, проходя стрежень, может провалиться, взял с собой шест на всякий случай...» – отметил про себя Демидов.

– Павел, Павел! – дважды воскликнул Макшеев. – Погибаю ведь...

Демидов видел, что Макшеев погибает. Павел давно понял, что тут произошло, почему такая длинная полынья. Провалившись, Денис торопливо пытался выползти из полыньи, опираясь на шест, но хрупкий, тонкий лед подламывался и подламывался. Обломки немедленно затягивало под ледяную корку, уносило. Туда же тянуло и самого Макшеева, но он снова вылезал на стылую кромку, и она снова обламывалась. А тело сводило судорогой от холода и страха, силы уходили, и вот уж не хватает, чтобы еще раз лечь грудью на лед. Он висел на шесте крючком, ноги были где-то подо льдом, за них словно кто тянет все сильнее и сильнее и скоро сдернет его со скользкой обмерзшей жердины.

– Ты к кому за помощью-то обращаешься? Ты подумал бы.

– Павел! Павел! Павел!! – в голосе Макшеева была мольба, способная пронять, казалось, и камень.

– Ишь ты! – бросил ему на это Павел зло и насмешливо. – А вот Гринька этак мне выложил недавно: подлюков человеческих с землей наедине надо оставлять. Порядочных-то людей

земля любит, а подлюков и сама умеет наказывать. И не надобно ей мешать в этом... В этом, говорит, самая справедливая справедливость. А?

– Павел... Поимей человечность!

– Ведь ребенок, а верно рассудил.

– Поимей, говорю...

– А ты имел ее, когда там... в Колмогорове, возле риги молотил меня? Когда самолично в милицию отвез и поджог на меня свалил? Когда с моей невестой в кровать ложился?

– Я не имел... Я подлый, знаю... Но я ведь и оплатить свою подлость по-всякому пытался. Ты не захотел...

– А человечья подлость разве цену какую имеет? Нет ей цены. Ты это-то понимаешь?

– Не знаю... Не понять мне. Я думал...

– И не за подлость ты расплатиться хотел. Ты от меня избавиться хотел. Потому что боялся.

– Нет, я не боялся. Я знал, что ты не убьешь меня, пальцем не тронешь.

– Это уж врешь.

– Правда, правда. Ну сперва, может, и думал, что... В самом деле боялся, что... Потом понял – нет, не станешь ты...

– Мараться?

– Ага. Неприятно только было, что ты за нами все таскаешься... все рядом.

– Напоминало, что ль, это... об том, когда возле риги...

– Напоминало.

– Пожалел хоть когда об том?

– Что тебя убеждать? Не поверишь.

– Не поверю...

Они, эти два человека, два старика, разговаривали теперь спокойно, будто сидели вечером за самоваром, вспоминали прошлое, пережитое. Если бы кто увидел, услышал – только по отдельным словам мог догадаться, что разговор их необычный какой-то. Да по тем обстоятельствам, в которых они находились: один лежал на льду животом вниз, другой торчал в полынье, повиснув на тонкой жердине.

Но видеть их было некому.

Поговорив, они замолчали. Плечи Макшеева, торчащие над водой, были льдыстыми, мохнатая баранья шапка тоже обмерзла недлинными густыми сосульками. Неослабное речное течение все тянуло и тянуло его под лед. Силы Макшеева, видно, покидали, он потихоньку сползал с шеста, плечи его все больше погружались в воду.

– Прощай, Денисий, – сказал Павел. – Сейчас тебя... Последние секунды дышаешь.

Этот ровный голос, эти безжалостные слова будто вернули Макшеева к действительности, будто помогли до конца осознать то положение, в котором он находился.

– Павел... Павел Григорьевич! – воскликнул он, подвывая по-звериному.

– Ишь ты, и отчество вспомнил.

– Помоги же! Остаток дней буду молиться за тебя! Стелькой выстелюсь, а заслужу прощение твое... за все, за все! Помоги же...

– А как я, если б и захотел? Лед и подо мной лопнет.

– Не лопнет. Выдержит. Ты – худой, легонький.

– Да и сладостно мне на твою гибель глядеть.

– Я тебе деньги обещал... ты не принял. Мало, может? Помоги – все отдам, все...

– А сколько это – все?

– Ну три тыщи... Пять тысяч... Семь! Слышишь, семь!

– Мало. Рискую все же.

В голосе Демидова была насмешка, но Макшеев не заметил ее, не до этого ему было.

– Девять дам, девять! – закричал он, чувствуя, что его вот-вот сорвет с жердины. – Нету больше. Нету!

– Врешь, больше наворовал с Марией. Что ты все набавляешь по две тыщи? Прибавь еще... сразу с пятюк.

И тут Макшеев завыл в полный голос, зарыдал, закричал, пропарывая сильно уже засиневший речной простор:

– Сволочь ты! Не человек ты! Все, все, сказал отдам. И эти пять! И еще... Дом, все манатки продам... И все тебе, тебе. Бери все, подавись. Павел! Люди, люди!

«От падаль... мразь такая! – пламенем заметалось в мозгу Демидова, опалая все под черепом. И там, под черепом, что-то начало трещать, но Демидов понимал, что это не под черепом, это лед трещит все сильнее и угрожающе, потому что он ползет, извиваясь, к полынье, а под черепом больно отдается этот треск. – Еще и в самом деле провалюсь. А там дома Гринька... Конечно, он не останется один, его Надежда возьмет с Валентином и вырастят. Муж у нее славный парнишка, он сроду не обидит Гриньку...»

Когда до полыньи осталось метра три-четыре, Демидов, все чувствуя, как прогибается под ним тонкая ледяная корка, перевернулся на спину, расстегнул полушубочный ремень, выдернул из-под себя. Затем расстегнул и выдернул брючный, начал их связывать.

– Скорее, Пашенька... Скорей, – услышал он.

– Ништо, продержишься... сволота вонючая... А нет – туда тебе и дорога.

И еще маленько подполз к страшной полынье Демидов, потому что и связанные ремни не доставали до Макшеева.

– Теперь так, Денисий... Хватайся за ремень, я потяну, а ты попробуй вскарабкаться на лед. Да чувствуй его крепкоту, шибко не дрыгайся. Без лишних толчков чтобы, иначе... А то я отпущу свой конец – и пропадай тогда.

– Я легонько, я легонько...

– Держи тогда.

Демидов свил в кольцо связанные ремни, бросил, стараясь попасть в голову Макшеева. И попал. Макшеев тотчас ухватился за спасительный конец. Демидов почувствовал – ухватился крепко, намертво.

– Теперь вылазь, – подтягивая ремень к себе, приказал Демидов. – Да, гляди, потихоньку...

Лед, присыпанный снежком, все же был скользкий, Макшеев за ремень только держался, к себе не дергал. Он понимал, что, если начнет лихорадочно дергать, Демидов заскользит к полынье и тоже провалится, если раньше не бросит свой конец.

За ремень Макшеев держался правой рукой, а левой, обламывая ногти, хватался за кромку льда, пытаясь поднять тело из полыньи. Но это ему никак не удавалось. Видя это, Демидов прокричал:

– Вверх по полынье продвись. Вверх...

– Ага, давай...

Демидов, слыша, как стучат зубы Макшеева, не выпуская ремня, перевернулся на спину, потом снова на живот, откатываясь влево. И опять потянул, помогая продвинуться Макшееву вверх по полынье.

– Теперь так... Ноги не свело судорогой?

– Не знаю... Не чую их. Нет вроде.

– Попробуй сейчас закинуть ногу на лед. Ну? Понял?

– Ага, ага... Счас...

Макшеев понял, зачем Демидов приказал продвинуться вверх по полынье и что требует сделать теперь: течение расплстало его тело вдоль полыньи, надо чуть подогнуть левую ногу и выбросить ее наверх, на лед, а потом... Только ноги вот не повиновались...

– Правильно, волк тебя съест! – услышал вдруг он и понял, что хоть ноги и не повиновались, хоть он и не ощущал их, а сделал, видимо, что следовало. – Теперь я дотяну, а ты спружинь ногой – и выкидывайся поосторожнее на лед. Ремни у меня крепкие, на твое счастье. Ну, по команде. Раз, два...

Слова «три» Макшеев не услышал. Он только почувствовал, что находится уже не в воде, что лежит на льду. Почувствовал и от охватившей его радости опять заплакал.

– Спасибо... Павел. Спасибо-о!

Первое слово он прошептал, последнее выкрикнул.

– Ты еще погодь радоваться, страмота. Отползай теперь от полыньи подальше. Ползи! В воде не скрючило, так сейчас замерзнешь.

И Макшеев беспрекословно пополз, лед под ним трещал, но выдерживал.

– Падаль ты, а приперло – людей на помощь закричал! – донеслось до Макшеева.

Тот оглянулся, увидел, что Демидов сидит на льду, пытаясь развязать ремни. Будто испугавшись, что старый лесник подойдет сейчас к нему и примется безжалостно, как Марию когда-то, полосовать тяжелым полушубочным ремнем, будто забыв, что снова может провалиться, встал на коленки, потом на ноги, пошел прочь. Пошел сперва осторожно и медленно, разминая ноги, а затем постепенно стал прибавлять шаг. И наконец, чувствуя, что лед под ногой все крепче, что он почти не пружинит уже, побежал рысцой.

Демидов все сидел на льду, все глядел вслед Макшееву, пока тот не пропал за синим утренним сумраком.

## 10

Всю зиму Макшеев промаялся простудой, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили вешние ручьи, начал окончательно поправляться. В солнечные дни он, отощавший и облинявший, выходил, опираясь на палку, на улицу, садился возле дома на солнечном припеке, хмуро оглядывал улицу, проходивших по ней людей, о чем-то думал.

Несколько раз он видел шагающего в магазин или из магазина Демидова, провожал его тяжелым ненавидящим взглядом. Демидов чувствовал, видимо, как тяжелеют бесцветные глаза Макшеева, ощущал их давящий взгляд. Он усмехался и проходил мимо. Макшеев замечал эту усмешку, складывал свои губы скобкой вниз, нервно постукивал палкой об землю.

Мария, когда Демидов приходил за покупками, с ним почти не разговаривала. Лишь когда Макшеева во второй раз увезли в больницу, она произнесла непонятное:

– Толку-то, что выволок ты его из полыньи. Все равно не жилец он теперь...

Она говорила недружелюбно, будто осуждала за что-то Павла.

Да еще раз спросила как-то:

– Ты что ж... вовсе бросил пить? Уж я и забыла, когда ты последнюю бутылку купил.

Первый раз Демидов ничего не ответил Марии, а тут сказал:

– Чего в ней хорошего, в водке-то?

Демидов замечал – с Марией что-то происходит. За прилавком она стояла всегда хмурая, неразговорчивая. За зиму заметно спала с тела, осунулась. По деревне говорили – об муже переживает, но Демидов чувствовал – дело тут не в муже. А в чем – определить не мог, да и не старался.

Еще он заметил: когда Денис был в больнице, «волчье око» в доме Макшеевых не горело. Но едва возвращался – тотчас вспыхивало.

Однажды Макшеев окликнул-таки Демидова, встал со скамеечки, врытой у стенки дома, подошел к нему, опираясь на свою палку. Губы его были сложены все такой же скобкой.

– Ты... – произнес Макшеев и умолк, захлебнулся.

– Ну я. И что?

Глаза Макшеева были налиты, как свинцом, тяжелой ненавистью. Но странно – Демидова это не раздражало, не вызывало прежней злости, хотелось только поскорей уйти от Макшеева.

– Ждешь обещанного-то? Тысяч тех? За спасение.

– Жду, как же. Я ведь сразу поверил: раз обещаешь, то принесешь, – усмехнулся Демидов.

Макшеев на мгновение опешил, растерялся. А потом, вскипев, закричал на всю улицу, не сдерживаясь:

– Ты... быдло! Бирюк лесной! Фигу тебе жирную, а не деньги! Понял, понял? Выкуси!

Демидов помолчал и спросил так же спокойно, чуть задумчиво:

– Тяжко, значит, тебе?

Расколись земля перед Макшеевым на две половинки, рассыпья небо на осколки – он не побледнел бы так, как побледнел после этих слов Демидова. Запрокинув голову, дергая белыми щеками, он хотел что-то выкрикнуть, выдавить из себя – и не мог. Так, с запрокинутой головой, он и стоял, пока Демидов не ушел, не скрылся в переулке.

...В тот вечер долго не вспыхивало «волчье око» в Дубровине, да так и не зажглось совсем, Демидов, приметив это, опять усмехнулся.

Не зажглось оно и на другой вечер. И вообще, никогда больше не светило в темноте.

## 11

Лето набирало силу быстро, все более земля напивалась теплом, заполыхали дубровинские леса цветами, засвистели в них соловьи.

Все кругом пело и цвело, только Денис Макшеев все сох, горбился, будто задался целью согнуться в крючок, высохнуть на усах.

Ходил он теперь все время с костылем, нисколько не опасаясь Демидова. Наоборот, он даже старался как можно чаще попадаться ему на глаза в безлюдных местах, но Павел не обращал на это внимания, будто не замечал Макшеева.

Однажды Павел с Гринькой, нарыбачившись вдоволь, заночевали на берегу Оби. Разложив костер, Демидов сидел на плоском камне, глядел, как пляшут отсветы пламени на темной воде. Гринька, умаявшись, похрапывал в наскоро сооруженном шалаше. Шалаш Демидов закрыл сверху брезентом, так как за рекой погромыхивал гром.

Макшеев вышел из тайги на берег неожиданно, шел к костру и протянул к огню руки. Демидов не ждал его, но не удивился появлению этого человека.

Посидев молчком, Макшеев кивнул на топор, лежавший на куче сушняка, собранного по берегу для костра:

– Что ж ты? Ночь хмарная, темная, и безлюдно, как в погребе. Всю жизнь ты, может, ждал такого...

– Пошел прочь отседова, – негромко произнес Павел.

– В реку меня столкнешь али в тайге где зароешь?.. Ну?

– Зачем? Живи, воняй дальше.

– Не хочешь, значит? Прощаешь?

– Пошел, сказано. Я б хотел – так из полыньи бы не вытягивал тебя.

– Э-э, нет... Я думал, зачем ты вытянул-то все же, в чем причина? Чтоб, значит, собственной рукой мне расчистить путь, чтоб с удовольствием, значит, было...

– Шарика за ролика у тебя совсем, гляжу, закатились.

Сказав это, Демидов поднялся и полез в шалаш, лег рядом с Гринькой. Вскоре пошел дождь, залил костер! Демидов слышал, как шипели, потухая, головешки. А Макшеев – Демидов чувствовал это – все сидел и сидел под дождем на мокрых камнях. Потом захрустели его шаги по гальке, удаляясь.

## 12

...В конце лета Макшеев, еще более усохший и почерневший, появился вдруг прямо в мазанку к Демидову, Гринька где-то бегал по деревне с ребятами, Павел готовил обед на электрической плитке.

– Здравствуй, Павел, – сказал Макшеев бесцветным, ничего не выражающим голосом. В руках у него была хозяйственная сумка с металлической застежкой «молния».

– Здравствуй.

Демидов ответил на приветствие не тепло и не холодно, тоже равнодушно. И нельзя было предположить, что долгие-долгие годы разделяли этих людей смертельная вражда и ненависть.

Демидов продолжал возиться с кастрюлями. Макшеев понаблюдал за ним и сказал:

– Вот долг принес. Не думай, что обманщик.

– Что-о?

– Деньги-то. Бери.

И он опрокинул над столом хозяйственную сумку, вытряс из нее кучу денег в пачках. Демидов помолчал, разглядывая эту кучу.

– Сколько ж тут?

– Много. Ровно пятнадцать тысяч.

Демидов сел, минуты две глядел, шевеля бровями, то на деньги, то на Макшеева. И Макшеев, сидя на другом конце стола, тоже глядел то на деньги, то на Демидова.

Так они и сидели, а между ними лежала эта куча денег.

– А не жалко тебе? – спросил наконец Демидов.

– Жизнь-то дороже. Раз я обещал...

– А Мария что?

– А какое ее тут дело?

– Н-ну, ладно... Спасибо.

– Берешь, значит? – И Макшеев облизнул пересохшие губы.

Демидов на этот раз ничего не ответил, опять они минуты две-три сидели молчком, недвижимые, каменея будто все больше, все крепче. За окном неприкаянно болтался уже не летний, остывший ветерок, скрипел расшатавшейся дощатой ставней на тонких проржавевших петлях. Скрип был тихий, жалобный, тоскливый, но, кажется, ни тот, ни другой его не слышали, сидели оглохшие.

Вдруг оконная ставня скрипнула погромче. Ржавый скрежет больно отдался в груди Павла Демидова, будто по сердцу его резанули чем-то тупым, зазубренным. Он поморщился от этой нестерпимой боли, медленно, с трудом разгибаясь, поднялся.

– Да... Спасибо, говорю... – Голос его тоже был сух и скрипуч, как звук болтающейся ставни. Павел жесткими, заскорузлыми пальцами взял со стола одну пачку денег, другую, третью... Всего их было тринадцать – одна в пятидесятирублевых купюрах, восемь – в десятирублевых и четыре – в пятирублевых. По сто листов в каждой пачке в стандартной банковской упаковке. – Глядь-ка, чертова дюжина.

И Павел мучительно усмехнулся.

Еще когда Демидов стал подниматься, Макшеев начал почему-то бледнеть. Пальцы его рук, лежавших на столе, мелко-мелко задрожали, и он рывком сдернул руки со стола, но куда деть их – не знал и то совал ладони в карманы старого измятого пиджака, то выбрасывал опять на стол. Потом схватил стоящую на полу сумку, поставил на колени и принялся судорожно мять ее, не замечая, однако, этого.

Демидов опять усмехнулся и вымолвил странное, непонятное:

– Арифметика-то – наука едкая.

Макшеев перестал мять сумку, затих, будто пытаясь добраться до смысла этих слов. Лицо его было теперь серым, землистым. Он еще раз облизал губы, тоже посеревшие, бескровные. И как-то униженно, умоляюще попросил:

– Ты пересчитай... Тут ровно пятнадцать тысяч...

– Я и считаю... С тридцать восьмого по сорок восьмой, значит, я мыкался... Три года поселения считать уж не будем... Десять лет... За каждый год, – значит, ты положил мне по полторы тысячи... По сто двадцать пять рублей за месяц... По четыре рубля за день... за каждый день. Ишь какая, объясняю, арифметика.

Демидов говорил сперва громко и отчетливо, выбрасывая фразы толчками, будто сыпал из автомата отрывистыми очередями. Потом горло его стало перехватывать, голос осел, осип. Последние слова он произнес шепотом, вытолкнул из себя с трудом. На Макшеева он не глядел.

По мере того как Демидов говорил, к щекам Макшеева стала приливать кровь, в складках лба и на переносице проступила мелкая испарина.

– Так что ж... Так что ж... – бессвязно пробормотал он. – А ты все равно возьми...

По дряблему горлу Демидова прокатился крупный и тяжелый комок, будто прочистил ему глотку, и он сказал прежним голосом – крепким и ясным:

– И почто меня, дурака, еще десять лет там не продержали! Теперь бы, может, тридцать тысяч от тебя получил. А? Дал бы тридцать?

Макшеев по-прежнему держал сумку на коленях, не мигая, ничего, может, не видя, глядел куда-то в сторону, в окно, за которым ветер шатал верхушки пожелтевших уже берез.

– Что молчишь? Дал бы? – вскричал Демидов, багровея.

– Дал бы, дал... – машинально и торопливо закивал Макшеев. И, только проговорив это, опомнился, сильно вздрогнул. И до конца понял, о чем идет речь, по-своему что-то сообразив, так же торопливо глотая слова, стал продолжать: – И сейчас дам... Она, конечно, не тетка, тюрьма-то. По четыре рубля – мало... У меня наберется. Я завтра принесу еще полную сумку... Принесу, говорю, не трожь! Не трогай, Павел...

Это Демидов, шагнув к Макшееву, пытался взять у него сумку, а тот судорожно прижимал ее к животу локтями. Но Демидов все же вырвал сумку и, держа ее у кромки стола на весу, сгреб все пачки денег в темный кожаный зев. Затем поставил сумку на стол, задернул застежку «молнию». Неприятный металлический звук будто пропорол установившееся за секунду до этого в комнате полнейшее безмолвие, и вот стало слышно тяжелое и хриплое дыхание этих двух стариков.

Оба – Макшеев и Павел – глядели теперь безотрывно – на сумку. Макшеев, одной рукой ухватившись за свое колено, а другую сунув в карман, сидел чуть наклонившись вперед, будто хотел вскочить, да никак не мог осмелиться. Демидов же стоял у стола столбом, навывтяжку, а длинные руки его с широкими ладонями висели вдоль туловища, как тяжелые узловатые плети. Щеки, лоб, все лицо Макшеева стало теперь красным, распаренным, покрытым крупными каплями пота, будто он только-только вернулся из жаркой бани, этот пот ручейками стекал по шее под рубаху, капал с подбородка на колени. Лицо же Павла Демидова было сухое, жесткое какое-то чуть бледноватое. Оно было неподвижно, его лицо, только на скулах беспрерывно вспухали и опадали желваки.

Потом они одновременно, оба с великим трудом, оторвали глаза от сумки, Демидов начал поворачиваться не спеша к Макшееву, а Макшеев медленно стал поднимать на Демидова свой взгляд.

Электрический разряд, казалось, взорвался в комнате, когда взгляды их встретились. Взорвался, опалил их лица, обуглил глаза – у того и у другого в неподвижных, свинцово-тусклых глазах ничего не было, кроме прежней ожесточенности, непримиримости, смертельной ненависти.

– Пошел отседова, – тихо сказал Демидов, с трудом разжав тяжелые сухие губы. Одной рукой схватил сумку со стола и швырнул на колени Макшеева.

Макшеев нервно дернулся, чуть не свалился на пол. Удержаться ему помогло, казалось, то обстоятельство, что он обеими руками цепко ухватился за сумку.

– Ты... чего, Павел? – прохрипел он. – Не берешь, что ли?

– Во-он!

И Павел, дергаясь лицом, подскочил к Макшееву, схватил его за шиворот, сильно толкнул к двери. Но в горячах, видно, не рассчитал направление толчка, попал Макшеевым не в дверь, а в косяк. Тот, не выпуская сумки из рук, обернулся стремительно, угрожающе, а заговорил голосом неожиданно униженным и просящим:

– Я же хотел, Павел, как лучше... по-человечески... Ты пойми...

Эти слова разъярили Демидова окончательно.

– Т-ты! – замычал он сквозь крепко стиснутые зубы, ринулся к порогу, ногой ударил в дверь, точно хотел разнести ее в щепки. – Т-ты-ы!

И, опять схватив Макшеева за шиворот, поволок его из комнаты, как щенка.

...Случайно оказавшиеся в тот час на приречной улице колхозный тракторист Ленка и дочка конюха Артамона Клавка с изумлением глядели, как бывший лесник Демидов тащит куда-то за шиворот упирающегося Макшеева.

Они слышали, как Макшеев все время выкрикивал умоляюще одно и то же:

– Павел!.. Пашка!..

И как Демидов на каждый макшеевский вскрик отвечал:

– Я понял! Понял я...

– Топить, что ли, ведешь его? – вежливо поинтересовался Ленка, когда Демидов с Макшеевым поравнялись.

– Они же пьяные, Лен! – воскликнула Клавка испуганно.

Эти голоса будто привели Демидова в чувство, он остановился, не выпуская, однако, воротника Макшеева из цепкого кулака. Потом сильно отшвырнул своего врага прочь:

– Оно и утопить нелишне бы...

И, шумно дыша, принялся вытирать ладони об одежду.

А Макшеев, отлетев на несколько шагов, обернулся и встал как-то странно, на раскоряченных и чуть согнутых ногах. Одной рукой он обтер мокрое лицо, а другой покрепче и поудобнее взял сумку за потрескавшиеся кожаные ремни, будто намеревался подскочить к Демидову и разmozжить ему этой сумкой голову.

– Значит, так... значит, так – не берешь?

– Отнеси Марьке... Она за это каждый час рискует, всю кровь отдает.

– Последний раз спрашиваю?! – взвизгнул вдруг Макшеев.

Демидов, уже успокоенный, усмехнулся:

– Высохнете ведь после с Марькой на усах, как полынные стебли... Жалко на вас глядеть мне будет.

– Высохнем?! Тогда... гляди! – выкрикнул Макшеев, сверкая глазами, и побежал к реке.

Улица проходила по самому берегу Оби. В пяти метрах начинался довольно крутой глиняный откос, затем, до самой воды, шла неширокая песчаная полоса. Макшеев торопливо скатился с откоса, разбрызгивая ногами песок, побежал дальше. У воды остановился, обернулся, прокричал еще раз снизу:

– Тогда – гляди, сволочь!

И, размахнувшись, швырнул сумку в деньги в реку.

– Ой! – воскликнула Клавка, – Чегой-то он?!

Голос Клавки еще не умолк, когда сумка, описав крутую дугу, как черная неуклюжая птица упала в реку, Течение сразу поволокло ее, отбивая все дальше и дальше от берега.

Едва сумка плюхнулась в воду, Макшеев сорвался с места и, будто намереваясь кинуться за ней в реку, торопливо сделал несколько шагов вниз по течению. Но потом замедлил шаги, остановился...

Сумка, чернея на светло-желтой воде, уплывала все дальше. Молча смотрели на нее Ленька-тракторист, Клавка, Демидов... Молча смотрел и Макшеев. Он стоял сутулясь, безвольно опустив вниз руки, спиной к деревне и к людям...

Когда черное пятно на воде исчезло – то ли сумка потонула, то ли просто уплыла из виду, Макшеев сел на песок, низко уронил голову.

– Да что... что это он сделал?! – опять воскликнула Клавка. – Что в сумке-то было?

– Ничего там не было, – ответил Демидов.

При этих словах Ленька-тракторист, давно стригущий посерьезневшими глазами то Макшеева, то Демидова, явно пытаясь разгадать, что же произошло между этими людьми, и, может быть, догадываясь даже о чем-то, еще раз сквозь прищуренные веки пристально поглядел на Демидова и повернулся к Клавке:

– Ну, пойдем отсюда, – и взял девушку за руку.

– Дурак! Вот дурак! – проговорила Клавка осуждающе в сторону Макшеева. – Сумка была ведь почти новая, кожаная. Рублей двадцать, однако, стоит.

– Ага... Сумку жалко, – сказал Демидов.

## 13

Опять зарядили дожди над дубровинской тайгой, лес стоял мокрый и унылый. Катила и катила Обь бесконечные и бесшумные волны, но, если поднимался ветер, река вскипала от злости и, раскачавшись, била и била в каменистые берега всей своей тяжестью.

За остаток лета и за всю осень Демидов не видел Макшеева ни разу. Тот будто сквозь землю провалился.

Жена его, Мария, тоже начала вдруг сохнуть, как и сам Макшеев, стареть прямо на виду. Щеки ее поблекли и смялись, за прилавком она стояла растрепанная, с вечно распухшими глазами, – видно, она часто и много плакала.

– Взяла бы ты себя в руки, Марька, – сказал ей однажды Демидов. – Смотреть на тебя тошно.

– Что ты сделал, паразит такой, с Денисом моим?! Что сделал! – истерично закричала она. Павел торопливо ушел из магазина.

Когда расхлябанная дождями земля начала от утренних заморозков костенеть, а с неба нет-нет да просыпались снежинки, Мария заявила вдруг к Павлу домой, прислонилась к дверному косяку, зажала лицо платком и опять произнесла сквозь слезы, как в магазине:

– Что ты сделал с Денисом моим? Что сделал?

– погоди, – проговорил Павел. – Сядь, что ли, проходи...

Он усадил ее возле стола, она немного успокоилась, всхлипывала только время от времени и глядела тоскливо в окно, постаревшая, неприглядная.

– Что с ним, с Денисием? – тихо спросил Павел.

– Что... Лежит в дому, как барсук в норе, который месяц на улицу не выходит... Ворочается, будто жжет у него все внутри. Зубами скрежещет по ночам – страшно прямо... Пить начал вот. Ты бросил, а он начал.

– А его и жжет, Мария... Собственное паскудство мучает его теперь, сжигает.

– Я знаю, – вздохнула женщина. – Как он тебя костерит, напившись-то! По косточкам разламывает. Взял, орет, человечье превосходство надо мной, думает? Ишь – простил мне все, из реки выволок и денег не принял за спасение. Ишь – тебя ремнем отхлестал! Благородный какой...

– Я вот все думаю, Мария... Он – ладно. Я теперь не удивляюсь, что он прислал тогда тебя ко мне в сторожку. А ты сама-то как на такое... на это решилась?

– Ты полегче чего спросил бы! – воскликнула она. – Дура, битком набитая дура я... – И, захлебываясь хлынувшими опять слезами, продолжала: – Ты еще не знаешь, какая я стерва-то... не лучше Дениса. Что ты в молодости во мне нашел? Ведь тогда, как ты на уговор про свадьбу приходил к нам... я знала, что Денис возле риги тебя ждать будет. Он мне наказал – ты напои его посильней, чтоб память ему отшибло. А какая, грит, останется, я до аккуратной пустоты выколочу. И я постаралась...

– Я это знаю... давно догадался, – глухо уронил Демидов, отвернувшись.

– Ну вот... А это, к сторожке – что уж мне...

Демидов полез за папиросой, задымил.

– Вот ты говорил недавно: ни бабы, ни человека с меня не выросло. Так оно и есть... Я бы другая вышла, может, не попадись мне на пути Денис. Да что теперь! Ты, а вместе с тобой и та, другая жизнь, которая у меня могла быть, стороной прошли.

– Да, уж теперь-то что, – согласился с ней Павел Демидов.

– Отчего он бесится особенно – не может постичь, как это ты простил его. Когда спас от гибели – он думал на деньги большие наконец-то позарился. Ага, говорит, люди все одинаковые! Сейчас ему не денег пропавших жалко, а то, что себе ты их не взял... Без выгоды, значит, рисковал тогда собой, без выгоды спас и до конца не оставил злости, простил. Почему, стонет, почему?

– Это все обыкновенно понять, Мария, – сказал Демидов. – Не могу я больше с ненавистью в душе жить. Тяжко стало. Отдохнуть захотелось.

Женщина глядела на него теперь удивленно:

– Непонятно. И мне непонятно... Он тебе жизнь изломал, все перековеркал. Он и я... А ты прощаешь...

– Ну да, прощаю! – вдруг начал сердиться Демидов, – Но только он отчего мучается-то? Отчего его жар сжигает? Он, я соображаю, понимать начал – не передо мной он только виноват, а перед всеми людьми, перед землей, на которой живет... Свое я ему прощаю, а люди не простят никогда! Ни ему, ни тебе. Потому что если прощать будут таким... и за такое – что же на земле будет?

Мария посидела еще, обдумывая его слова, встала, медленно пошла к дверям. Там остановилась, опять прижалась спиной к косяку.

– Вот зачем я приходила? – произнесла она негромко, измученным голосом. Потом долго терла обеими руками щеки. Уронила руки, вытянулась сильно и туго. Щеки ее были теперь такие же белые, как стенка, возле которой она стояла, глаза блестели нездоровым блеском. – Я вот что, Павел, приходила – не надо, не надо было тебе его из полыньи вытаскивать... Так лучше было бы... И для него и для меня...

– Эвон что! А ты поняла б меня, коли я не вытащил? Мог, а вот не захотел...

– А кто узнал бы? Один на один вы были...

– Да-а... А сам-то бы я забыл, что ли, об этом? Взял бы да и забыл?

Мария стояла все так же, сильно вытянувшись, будто прибитая к стенке. Она долго пыталась поймать смысл его последних слов, а может, смысл всего разговора. И вдруг, заломив руки, вскричала:

– Господи! Счастье-то какое мимо меня прошло!

И с этим криком выбежала на улицу.

## 14

Зима начиналась тощая, бесснежная. Обь встала неделю назад, а земля была почти голой. Так, сантиметра на два была она присыпана сухой крупкой, на дубровинских улицах торчали острые гребни затвердевшей грязи. Не проехать было по улицам ни на санях, ни на телеге.

В пятницу ударил вдруг такой мороз, что в тайге гулко застреляли, лопааясь, деревья.

Под вечер, как всегда, несмотря на адский холод, нагрянули из города рыбаки, до полночи стучали в закрытые ставни макшеевского дома, хотя привычное для них оконце не горело и Мария прилепила там бумажку с крупными буквами: «Водки нет».

– Стучат... Вот я возьму кочергу да постучу им выйду, – несколько раз говорил Денис Макшеев желчно, расхаживая по комнате в нижней рубаше.

Потом он каждый раз садился к столу, ставил на него локти, зажимал голову и сидел так долго, копя – знала Мария – ненависть к ней. И, накопив, бросал ей через всю комнату, чуть поворачивая заросшее грязным волосом лицо:

– Сука ты! Сучка вонючая... Ты во всем виноватая!

Денис дошел до края, это Мария видела и понимала.

Он последний месяц грыз ее за то, что не смогла она тогда в лесу соблазнить Демидова.

– Подстелилась бы ты под него, он отстал бы от нас, я знаю, знаю... А ты, кобыла, этого не сумела.

Сперва Мария возмущалась на такие слова, обижалась, плакала.

– С-сыть! Распустила сопли! – гремел Макшеев. – Не понимаешь, что ли?! Сумела б полюбовницей его сделаться – он бы не стал меня из реки вытаскивать. А он вытащил, он рассчитал все – живи, мол, и размышляй, какая ты плесень и какой я человек хороший...

– Денис, да что об этом думать! – умоляла она его. – Уедем отсюда! Он теперь за нами не потащится.

– Уедем... Пробовали! Не уехать теперь от этого никуда.

Мария чувствовала, как тупеет что-то у нее в груди, в голове.

Где-то за полночь рыбаки стучать в ставни перестали, угомонились, а Макшеев все ходил и ходил по комнате. Затем полез в чулан, выволок рыболовные свои снасти – удочку-подергушку, черпак, пешню.

Лешню он долго осматривал, трогал острый конец, пробовал зачем-то на вес.

– Никак и ты рыбачить собираешься? – приподняла Мария с кровати растрепанную голову.

– Не провалюсь теперь, не бойся, – ответил он со смешком. – Лед сейчас уже крепкий – грузовик вчера переезжал на тот берег.

Приготовив снасти, он лег, но не спал, все ворочался, все сопел глухо. Встал поздно, когда уже рассвело.

Молча он позавтракал, выпил полный стакан водки. Посидел, подумал, выпил еще один стакан.

– Чтоб теплее было, – пояснил он вдруг. – Ночью отдало вроде, ишь окна оттаяли. Да не лето все же...

Затем он надел тужурку, баранью шапку, собрал свои снасти и ушел, бросив от порога вчерашнее:

– Да... Не уехать теперь от этого никуда.

Оставшись одна в доме, Мария убрала со стола, оделась, пошла в магазин на работу. И когда убирала со стола, и когда шагала по кочковатой улице, все думала об этих последних словах мужа. Она слышала их не однажды, знала, какое содержание вкладывает в них Денис. Однако на этот раз в голосе мужа было что-то новое, непонятное, пугающее. Голос был, как

обычно, с хрипотцой, но в нем не чувствовалось, как всегда, ни злости, ни бессильной ярости. Голос был равнодушный, безразличный к тому смыслу, какой заключали слова, и это настораживало, беспокоило ее все сильнее и сильнее. К тому же, говоря их, Денис криво усмехнулся, лицо его перекосило, оно было все перепахано судорогой, и глаза блеснули тупо, бессмысленно, потухающим каким-то светом...

Мария вспомнила выражение его лица и блеск его глаз, уже дойдя до магазина, открывая замок на дверях. И тут ей ударило больно в голову: а наживки-то?! Раньше, собираясь на рыбалку, Денис загодя готовил всякие наживки, долго возился с ними. А сейчас даже и не подумал об них! Какая ж тогда рыбалка? Господи, да ведь он...

Дрожащими руками она выдернула ключ из полуоткрытого замка, но тут же уронила на землю, искать не стала, потому что не заметила даже, что уронила, кинулась вдоль улицы к берегу. Зачем бежала, что могло случиться с Денисом там, на реке? Лед окреп, он вчера выдержал грузовик. Но она бежала, не понимая еще зачем, какая-то сила толкала и толкала ее вперед, а в голове звенели и звенели разламывающие череп звоны...

## 15

...Выйдя из дома, Макшеев глотнул холодного воздуха, глотнул неосторожно много, до крови, казалось, оцарапав изнутри всю грудь. Хмеля он никакого не чувствовал, хотя только что выпил целую бутылку, но тут голова вдруг сильно закружилась. Впрочем, это быстро прошло, и он широко зашагал к реке, держа тяжелую пешню наперевес, прижимая ее локтем к боку.

Все речное пространство за островком, у противоположного берега, было усеяно рыбками. Они сидели то кучками, то россыпью, кое-где стояли на льду брезентовые палатки.

Денис Макшеев, сосредоточенно глядя себе под ноги, точно боялся оступиться, пошел к островку.

Первого, кого он увидел, обогнув островок, был Демидов. Рядом, над лункой, сидел приемный сын его, Гринька, старательно работал подергушкой. Он раскраснелся, глаза его от азарта поблескивали.

Клев был отменный, возле лунок Демидова и Гриньки валялось десятка по три окаменевших рыббин.

– Окунь, значит, один идет? – вдруг останавливаясь, проговорил Макшеев.

Демидов глянул на него, но ничего не ответил, отвернулся к лунке.

– А сын-то – ишь...

– Что – сын?

– Ловко, говорю, того... Наловчился уж.

Демидов снова поднял недоумевающее лицо. Макшеев усмехнулся как-то странно, одной стороной лица. Будто не усмехнулся даже, а подмигнул.

– И правильно, пусть... Нету радостней занятия, кто поймет... рыбалка-то...

Он скривил шею и пошел дальше, неся голову на отлете. Но вдруг остановился, произнес, тускло поблескивая двумя металлическими зубами:

– Я так и рассчитывал, что ты тут, дядя... Да, я знал...

Его непонятная усмешка, его слова, особенно последние, это любимое им в молодости словечко «дядя» – все не понравилось Демидову, чем-то обеспокоило, вызвало нехорошее чувство. Он забыл про свою удочку, не отрываясь стал глядеть на Макшеева.

А Макшеев никак, видимо, не мог выбрать место для лунки, все ходил и ходил меж рыбаков, по-прежнему держа голову набок. Наконец выбрал, кажется, принялся долбить лед в сторонке от всех. Долбил он долго, раза три нагибался, вычерпывая из лунки ледяные крошки.

«Лед-то всего ничего, сантиметров десять, а он столько возится, – отметил про себя Демидов. – Обессилел, что ли, совсем?»

Павел хотел заняться своей удочкой, но в это время Макшеев бросил пешню. Он отшвырнул ее далеко, будто ненужную, мешающую ему вещь. Демидов быстро положил на лед свою подергушку, жесткие, выцветшие брови его дрогнули, сдвинулись. Умом он ничего не мог еще сообразить, а в сердце больно кольнуло раз, другой...

А Макшеев меж тем вдруг расстегнул и сбросил на лед полушубок. Демидов вскочил, чувствуя, как дрожат колени, не сам вскочил – подняла его будто какая-то посторонняя сила. Сознание же все еще не работало.

– Дени-ис! Держите его! Помешайте! Держите-е... – разнесся над белой рекой пронзительный женский голос. Он был страшен, этот голос, своей неожиданностью и мольбой о помощи. Рыбаки повскакивали, не понимая, кто и почему кричит, о чем умоляет: лед, кажется, крепкий, надежный, провалиться никто не мог.

Только Демидов все понял наконец, сорвался с места, тяжело побежал к Макшееву. Гринька испуганно глядел вслед отцу.

А Макшеев стоял возле продолбленной им широкой, Диаметр чуть не в метр, дырки во льду. Стоял, вытянувшись в струнку, как суслик перед норкой, и будто терпеливо ждал, когда подбежит к нему Демидов. Грудь то ходила толчками, лицо было багрово-темным. Трясущейся рукой он расстегнул воротник рубахи-косоворотки, словно он жал, не давал дышать.

Когда Демидов был метрах в пяти, Макшеев крепко прижал к туловищу руки, шагнул в прорубь и столбом рухнул вниз. Из проруби на лед тяжело плеснулась вода.

– Папка-а! – в ужасе закричал Гринька, оказавшись рядом. – Это... что? Как он? Зачем?!

Мальчишка был бледный как снег. Демидов цепко схватил его, прижал к себе, точно опасаясь, что и Гринька может прыгнуть в воду, под лед.

– Ничего, сынок... Ничего. Он, дядька Денис, оступился, видишь... – бессвязно зашептал Павел. – На льду-то осторожно надо, опасно всегда. А он не поберегся... подскользнулся и упал...

Они стояли так, прижавшись друг к другу, и тупо глядели, как в проруби бурлит черная вода. Эта вода крутила и крутила размокшую баранью шапку Дениса Макшеева, а потом уволокло ее под лед.

Отовсюду бежали люди к тому месту, где стояли Демидов с Гринькой. Только Мария уже не бежала. Увидев, что муж рухнул в прорубь, она остановилась, будто наткнулась на крепкую стенку, постояла, подломила в коленках, потом в поясе и упала головой вниз.

Она и не плакала вроде, голоса ее не было слышно. Лишь тело ее крупно тряслось...

## 16

Недели две Павел Демидов и сын его Гринька жили молча, изредка переговариваясь только о самом необходимом.

Но однажды вечером, лежа в кровати, Гринька вдруг спросил из темноты:

– Ты говоришь – он подскользнулся и упал в лунку, дядя Денис... А зачем он лунку такую большую сделал?

– Ну, зачем? Узкая лунка скоро замерзает, приходится время от времени ее раздалбливать. А широкой на всю рыбалку хватит.

Но чувствуя, что объяснение его может не убедить Гриньку, стал говорить дальше:

– А потом, бывает, возьмет окунище шире лопаты. Как вытащить? Пока раздалбливаешь лунку пошире, окунь и сойдет. А Денис – он жадный был на рыбу. Вот и раздолбил сразу на всякий случай...

Павел и еще что-то говорил сыну такое же неубедительное, упорно пытаясь уверить сына, что две недели назад произошел на льду обыкновенный несчастный случай.

- А ты его жалеешь, пап? – спросил Гринька, прервав объяснения отца.
- Нет, сынок, – помедлив, сказал Демидов. – Он был шибко подлым человеком.
- Что ж, тогда я прав был: добрых людей земля любит, а нехороших и сама наказывать умеет.
- Спи, сынок. Что ж теперь об этом думать? Уроки все выучил на завтра?
- Все.
- Ну и спи.

Но Гринька еще долго ворочался, вздыхал, как взрослый. И засыпая, наконец, произнес:

- А страшно, должно быть, подлым людям один на один с землей оставаться? А, пап?
- Им страшнее, видать, с совестью своей один на один встретиться, сынок.
- Это – как?
- Никак! Спи, якорь тебя! – рассердился Павел, но скорее сам на себя, за свои последние

слова.

Гринька еще не понимал, а Демидов и не хотел, чтобы он так рано понял, что на древней земле под древней луной произошла одна из вековых драм человеческих...

1970

## Вражда

В високосный день 1944 года, 29 февраля, во вторник, старший из шести оборванцев Катьки Афанасьевой – Мишуха, застрелил из берданки председателя романовского колхоза Артемия Пилюгина, давно вернувшегося с фронта по ранению, орденоснца. Мишуха подошел к дому председателя, когда стемнело, ткнул дулом берданки в стылую, красноватую от горящей в избе лампы нижнюю шибку. Обмерзлое стекло негромко лопнуло, просыпалось тяжелыми осколками вниз. «Эт-то кой там черт?!» – свирепо прохрипел Пилюгин, повернув голову от стола, за которым ужинал со своей семьей. В два прыжка он подскочил к окошку, наклонился к разбитой шибке, чтобы высмотреть побойщика, и тут Мишуха вlepил ему прямо в лицо заряд. Железный обрубок, забитый в ствол, разнес полчерепа, грузный Пилюгин тычком рухнул на край скамейки, стоящей у стены, скамейка взвилась другим концом под потолок, с грохотом упала на крашенный пол. И только тут в ужасе заревели все враз – мать Артемия Пилюгина Федотья, жена его Лидия, дети – Пашка и девятилетняя Сонька...

Сбежавшиеся на выстрел люди отобрали у Мишухи берданку, а скручивать убийцу не было надобности. Мишухе шел всего четырнадцатый год, и он, сжавшись, как котенок, сидел на мерзлом снегу возле стены дома. Сын убитого Пашка, подвывая, как щенок, пинал и пинал толстым валенком Мишуху, но тот пинков будто и не чувствовал, не защищался, он лишь тоскливо повизгивал и красными от холода кулаками растирал слезы на грязных щеках.

– Убью паразита-а! Раздавлю-у... Пустите! – безумно орала Федотья Пилюгина, разломаченная, страшная, с распухшими глазами, готовыми, казалось, вот-вот лопнуть от ярости, билась в руках удерживающих ее баб. Они отобрали у старухи тяжелый медный пестик, кое-как увели, затолкали в дом, где лежала бесчувственная Лидия.

– Ты што сотворил-то, проклятуший?! Што? – черной вороной висела над Мишухой дряхлая бабка Андрониха, тыкала в мальчишку костылем. – Ить человека ухайдакал. Засудят теперь. В каторгу...

– Отойди, старая... Отступись ты, – отпихивал ее сам дед Андрон, тоже древний и костлявый, как его жена. – И другие отойдите от мальчика, тут власть должна...

Но никакой власти в Романовке теперь не было, и что делать, никто не знал. Кругом стоял бабий вой и плач. Романовка – деревня небольшая, всего в одну коротенькую улочку, а у пилюгинского дома было тесно, как на базаре. Бабы, старики и старухи метались возле окошка, за которым лежал мертвый Пилюгин, сбежавшиеся сюда деревенские детишки стояли кучками поодаль и, напуганные происшедшим, молчали.

Молодых мужиков, кроме председателя Пилюгина да хромоногого Петрована Макеева, колхозного кузнеца, в Романовке давно уж не было. На многих получены в разное время похоронки, на остальных каждую пятницу, когда из райцентра привозилась почта, ожидали. Робкая и зыбкая надежда, что муж или сын на этой проклятой войне покуда живой и до конца ее не сгинет, затаенно жила, конечно, в каждом женском сердце, щемило его тихой и постоянной болью, а рядом гнездилась боль другая, страшная и черная, – вдруг да Марунька-счетоводиха, раз в неделю ездившая в районную почту, привезет в эту пятницу зловещий казенный конверт? Ее возвращения со страхом ждали еще с утра, непрерывно поглядывали на увал, круто вздымавшийся за деревней. И когда там, на сбегавшей вниз дороге, показывались ее сани, а если летом – телега, изболевшееся сердце каждой бабенки совсем останавливалось...

Теперь в Романовке и вовсе остался один мужик, кузнец хороший, выручальник колхоза, да этим же до края избалованный, беспробудный пьянчужка. Каждое утро, прежде чем раздуть горн, он сильно опохмелялся, тусклые глаза его прояснялись, вялые руки обретали живость и крепость. Весь день он работал красиво и азартно, непрерывно вытирая со лба пот, заливавший глаза, а вечером снова накачивался самогонкой из свеклы до самого горла.

Сейчас Макеева возле дома убитого председателя не было, да о нем никто и не думал, никто не ждал его, зная, что он бесчувственным бревном лежит у себя в кузне, Петрован Макеев ногу поморозил на финской, отчего она скрючилась, жена его, бабенка ветреная и бесплодная, с хромым жить не стала, завербовалась куда-то на Север и уехала, как все говорили, «за длинным рублем и новым мужиком». С того, как считали в Романовке, и начал Петрован пить. Летом он обычно ночевал в захиревшей без женской руки, совсем почти сгнившей своей избенке, зимой же натопить ее было невозможно, а приводить жилье в порядок кузнец ленился и с наступлением холодного времени жил безвылазно в кузне, там же и спал, пристроив лежанку к теплomu до утра горну.

Но неожиданно для всех Макеев объявился. Как он подошел к пилюгинскому дому, никто в суматохе и в темноте не заметил, его увидели, когда он, прокопченный, черный как грач, нагнувшись, вошел в комнату. Ростом он был высок, голова его почти упиралась в потолок. И плечи, обтянутые прогорелым во многих местах полушубком, были широкими, в косую сажень. Из-под расстегнутого полушубка выглядывала рубаша, тоже расстегнутая, а из рубашки волосатая грудь – бугристая, звериная какая-то, отчего Петрована все побаивались. Он был добрым, этот кузнец-пьянчужка, безотказно ковал любому, кто обращался, лопаты и тяпки, ножи и сечки, крючки и задвижки, всякие скобы и гвозди – да мало ли какая мелочь требовалась в хозяйстве. Деньгами не брал – что на них купишь в такое-то время, – раз и навсегда положил, чтоб за работу ему носили самогонку или кой чего из съестного. Но размер платы никогда не определял: что дадут, то и ладно. Обращались к нему все и постоянно, даже из соседних деревень каждый день наезжали, жил он безбедно, запас самогонки никогда не истощался. Но, расплатившись за работу, торопливо поблагодарив, люди тотчас спешили уйти: уж больно молчалив и угрюм был кузнец. А он смотрел каждому вслед неприязненно, темные глаза его разгорались, как угли в горне, но тут же тухли, он усмехался в клочковатую, забитую копотью и железной окалиной бородку и принимался за свою нескончаемую работу.

Войдя в комнату и оглядев сразу смолкнувших баб – лишь жена Пилюгина, свернувшись крючком на голбчике, тяжело и глухо рыдала, – он усмехнулся по-своему и шагнул к убитому. Тот как упал ничком, так и лежал, возле головы растеклось по полу кровавое пятно. Макеев постоял над ним и вразтяжку уронил два слова:

– Поворо-от! Та-ак...

– Что так?! – сорвалась с кровати Федотья Пилюгина, оттолкнув какую-то бабу, совавшую ей стакан с водой. Стакан баба уронила, он разбился, многие поглядели на осколки с испуганной жалостью, потому что магазинная посуда была редкостью. – Что так, бирюк вонючий?! Как теперь жить? Жить как? Передушить за это всех щенков афанасьевских! Катку-суку – всех наперед! Развела свой змеиный выводок...

Петрован Макеев не обратил никакого внимания на ее крик, на ее оскорбительные слова, будто не слышал и не видел Пилюгину. Он молча повернулся и шагнул за порог.

На улице он подошел к Мишухе. Возле него крутился один дед Андрон, отгоняя озверелого Пашку. Сынишка убитого Пилюгина был одногодок Мишухе, он выскакивал из толпы женщин, пинал Мишуху, который все так же прижимался к стене, и снова нырял в толпу.

– Хорек! Ну прямо хорек. Да што теперь-то... – хрипел изнемогающий дед. – Бабы, да уймите его! Сонька, уведи своо брата!

Однако женщины стояли у дома, странным образом молчаливые и безучастные. А девятилетняя Сонька, зажавшись у крыльца, испуганно и беззвучно плакала.

– Все одно убью его... до смерти! – сквозь слезы орал Пашка. – Вот счас за шкворнем сбегаю...

Пашка в самом деле побежал куда-то, да наткнулся на кузнеца. Макеев тяжелой рукой схватил мальчишку за ворот, встряхнул:

– Умолкни. Шкворень тебе... – И толкнул прочь.

Кузнец с минуту стоял молча, удивленно и как-то виновато глядел на Мишуху, наклонял голову то на один, то на другой бок, будто пытался разглядеть этого сопливого убийцу получше.

Потом Макеев усмехнулся невеселой, сожалеющей усмешкой и проговорил:

– А я хотел в молотобойцы его взять. Ишо подрастет, думаю, да и возьму. Одному-то несподручно.

– Да куда уж теперь, – хилой от старости рукой махнул дед Андрон.

Мороз целый день жег остервенело, аж плевки замерзали на лету, но к вечеру с увала потек вниз едва уловимый полынный запах – верный признак, что наступит потепление. Увал этот обегал Романовку с трех сторон, на крутых и каменистых его склонах почти ничего, кроме полыни, не росло, ветер постоянно сдувал с него снег, обрушивал на деревушку. Летом в холодные дни и зимой в оттепель струился с его склонов вниз этот приятный и освежающий несильный полынный запах, будоража колхозных жеребцов.

– А Катерина-то знает? – снова подал голос Макеев.

– Да как, поди... – откликнулся дед Андрон. – Да она ж пластом лежит какой день. Как Доньку схоронила...

Еще помолчал угрюмый кузнец, затем поцарапал ожелезневшими ногтями в клочьях волос на подбородке и с горечью произнес:

– А ведь оно, раз убийство... Милиция тут теперь... Ах ты страмец такой! Что ж, пойду к Катерине я, что ли...

Но в это время под темным небом, где давно уже горели холодные звезды, раздался смертельный вскрик Кати Афанасьевой:

– Ми-иша-а?!

Вскрик этот заколотился, казалось, об высокие стены увала, не находя места, чтобы вырваться и пропасть в черных заснеженных полях, он еще не затих, как подбежала к толпе сама Катя Афанасьева, в кособокой залатанной юбке и старом пиджачишке, простоволосая, страшная в своем безумии.

– Миша-а! – еще раз простонала она, рухнула перед ним плашмя и, обнимая его колени, вся задержалась, забилась в тяжких рыданиях на утоптанном, заледенелом снегу: – Ты что наделал-то?! Наделал что...

– Катя, Кать... Пушай ему... – разжал губы парнишка. И, глотая слезы, добавил: – Ты не плачь. Пушай... Не плачь, Катя.

Слова эти будто успокоили ее, она стала затихать. Поскулив еще немного сквозь зубы, шевельнулась, встала на колени.

– Простынешь же на снегу, Мишенька... Айда домой, там ребятишки натопили, – проговорила она, подняла с земли всхлипывающего Мишуху, разогнулась, грузно поворотилась к людям. Глаза ее блестели во мраке неживым блеском, растрепанные волосы делали этот мертвый огонь в ее глазах еще более жутким.

Постояв так несколько мгновений, шагнула к молчаливой толпе, люди раздвинулись, и она прошла сделавшимся проходом, увела Мишуху во мрак.

Когда они скрылись, дед Андрон вздохнул облегченно:

– Ну и слава тебе господи.

Но бабы и старухи, ошеломленные небывалым убийством, странности в его словах не заметили.

\* \* \*

Так случилось, что с самого начала войны на руках у Кати Афанасьевой оказалось шестеро. Старшему из них, Мишухе, шел тогда одиннадцатый, остальные мал мала меньше –

Захару шесть, Кольке пять, Игнатию три, Зойке с Донькой по два годика. А самой-то ей только-только исполнилось двадцать.

Мишуха, Николай и Зойка – ее братья и сестра. Остальные трое были детьми Степана Тихомилова, ушедшего на фронт сразу же по объявлению первой мобилизации, в июне сорок первого.

Недели три назад заболела вдруг Донька, взялась вся огнем, в беспамятстве заметалась на рваной и тощей подстилке. Даже под больного ребенка постелить чего помягче, кроме облезлого, никуда уже не годного полушубка, не нашлось – за страшные военные годы все было продано и прожито с этой плачущей, ползающей и бегающей по избе оравой, вечно просящей есть, есть, есть. Нынешней осенью, едва посыпалась на окостеневшую землю снежная крупка, пришлось свести в райцентр, на базар, и единственную корову, потому что зиму кормить ее было нечем, Артемий Пилюгин, ставший с весны 1942 года председателем в Романовке, сена накосить не дал. Сперва все отмахивался – успеешь, мол, вон сколько еще лета, надо сперва колхозным коровенкам накосить. Потом стала осыпаться рожь, подошла пшеница, взбесившийся председатель с утра всех поголовно выгонял с литовками и серпами на поля. Мишка в поле с теткой Василихой работал на лобогрейке, подросший за два военных года Захарка – возчиком хлеба на заготпункт. Дома за старшего оставался Колька, варил пустое варево из картошки, свекольной ботвы, из недозревших капустных листьев, утирал мокрые носы Доньке с Зойкой, следил за хулиганистым Игнатием...

Когда дырявым стал красный огонь на осинах, Катя словно очнулась от вязкого дурмана, стоящего в голове, с ужасом подумала, что ведь корова останется без корма. И однажды до свету растолкала Михаила, сунула ему в руки литовку, себе взяла другую – подлиннее и потяжелее. И вместо колхозного поля побежали они по холодной, уже осенней, росе за речку.

– Покосим, Миш, до солнышка... Без коровки-то мы как?

– Да что ж, Кать... Без молока детям никак.

Себя Михаил ребенком давно не считал, расставив по-мужицки ноги, принялся махать косой.

Увлечшись, они ровно и не заметили, как взошло солнце, все молча косили и косили.

– Ой, Миша! – воскликнула Катя, откинула смокшую прядь с распаленного лица. – Солнце-то?! Пилюгин съест.

Мишка молча глянул на небо, подошел к обкошенным кустам, сунул литовку под рядок жесткой, давным-давно перестоявшейся травы, проговорил:

– И ты положи тут. Чего их с собой переть? Завтра опять придем покосим.

– Придем, Миш. Надо ведь.

Мишуха устало опустил на кочку, вынул кисет, свернул самокрутку, застукал обломком плоского напильника об острый камень, прижав к нему ватный жгут толщиной в палец, обожженный на конце. Кремль был хороший, стальной обломок высекал целые снопы искр, фитиль задымился. Михаил раздул его, прикурил, осторожно, чтобы не уничтожить нагар на фитиле, сунул ватный жгут в гильзу от отцовской берданки, вместе с кремнем положил в кисет.

Он считал себя взрослым и курил, как взрослый, молчаливо и не торопясь, сосредоточенно глядел куда-то в одно место, о чем-то устало думая. Потом стал глядеть на сестру. Подняв голые локти и чуть откинув назад голову на крутой шее, та зачесывала назад гребенкой густые волосы.

– А ты красивая у нас, Кать, – сказал неожиданно Михаил.

– Вот... ты, – отмахнулась Катя. – Определил... Отец-то с войны вернется – не одобрит за табак.

Курить Михаил начал еще прошлым летом, Катя тотчас услышала запах, сказала: «Не надо бы, Мишка, курить-то покуда». – «Не надо, – согласно проговорил он баском. – Да наломаешь хребет, задымишь – и будто полегче». И не сами слова, а голос меньшого братишки,

раньше времени загрубевший от непосильной работы, разволновал тогда Катю, в глазах у нее, за длинными усталыми ресницами, блеснула влага, она сказала: «Не таись тогда... Подпалишь еще чего».

– Да не одобрит уж, – сказал сейчас Мишуха на слова сестры и вздохнул. – Не пишет он че-то уже месяц.

– Скоро будет письмо, Миш... А от Тихомилова Степана вчерась пришло.

– Ну?

– Ничего... Спасибо, грит, за детишек вам с Михаилом.

– Врешь! – взвился Мишуха. – Что это ему про меня бы?

– А на, читай...

Как началась война, Михаил год еще, покуда дома был отец, походил в школу, а после четвертого класса больше уж не учился, не до учебы стало. И Степан Тихомилов, отец Захара, Игнатия и Доньки, писал торопливо, видно, не очень разборчиво, потому Михаил морщил от напряжения лоб, шевелил заветренными губами. Вдруг губы его дрогнули, он засопел, отвернулся от сестры. Потом снова стал читать, шевеля губами, перевернул листок.

– Ну, тут... Миша, про тебя боле ничего нет, – торопливо сказала Катя и взяла письмо. Она прятала от брата глаза, стояла чуть смущенная.

Так прошло какое-то время, с полминуты может, затем Михаил негромко проговорил, оглядев покос:

– С полвозика набили, кажись.

– Должно, будет, – согласилась она, подняла с земли старый отцовский пиджак, надела его. Пиджак был велик, она потуже обернула полы вокруг худенького тела, подпоясалась обрывками сыромятного ремешка. И в этот момент из-за лохматых кустов выкатились бесшумно дрожки Пилюгина.

– Тэ-эк-с, косцы-молодцы! – усмешливо протянул он, подъехав. Коротенькие рыжие усы его покачались и криво застыли. – Кто это велел вам... тут? Люди уж давно на работе, а вы...

– Артемий Сасоныч... – умоляюще проговорила Катя.

– За самовольство, Катерина, ответишь! Без понятия, что ли?! У нас хлеб гибнет, а вы...

– Мы до солнышка только... Мы – сейчас.

– До солнышка... – И усы председателя опять закачались коромыслом. – Прижгут вот если тебе? За самовол?

– У меня же их шестеро, Артемий Сасоныч, – взмолилась Катя, кивнув на Мишуху.

Она стояла перед ним беспомощная и жалкая в этом проношенном до дыр отцовском пиджаке, в залатанной юбке, мокрой до колен от утренней росы. Пилюгин глядел на этот ее мокрый подол, все шевелил и шевелил желтыми усами, а на широких крыльях его носа проступили отчего-то капельки пота.

– Шестеро... – буркнул он, покачивая тяжелыми плечами, двинулся мимо нее к Михаилу, оставляя на кошенине большие вмятины следов, нагнувшись, выдернул из-под травы обе литовки, понес их к своему ходку, снова оставляя за собой кривую линию от сапог.

Михаил какое-то время с ненавистью глядел на его качающийся огрузлый зад, потом сорвался с места, заскочил ему путь.

– Не трожь литовки-то! Дай сюда...

– А по сопатке вот дам! – хриплодохнул Пилюгин. В одной руке он нес обе литовки, другую в самом деле поднял будто для удара, но не ударил, легко отстранил со своего пути мальчишку. – Тут колхозный покос, а вы...

– Какой тебе колхозный! – крикнул Мишуха. – В кочках-то... Мы тут прошлый год косили. И каждый год мы тут...

– погоди, Миша, – попросила Катя, тронув братишку за плечо, пошла за председателем. – Как же без сена-то мы, Артемий Сасоныч? Коровенку чем зимой кормить?

– Чем... – Пилюгин бросил литовки на свои дрожки, грузно повернулся. Доставая кисет и не глядя на девушку, скривил усы. – Найдем, может, чем. Я те говорил...

– Артемий! – взметнулся умоляющий голос Кати, прервался... Она обернулась к братишке, но словно больно наткнулась на что-то глазами, опустила голову. – Миш, ты ступай... Я сейчас... А ты куда ребятишек там покорми чем.

Мишуха, растерянный и пришибленный, стоял неподвижно.

– Чего стоишь?! – вдруг с ненавистью прокричала ему в лицо сестра. – Сказано тебе – отправляйся!

– Не ори, – бросил ей Михаил, повернулся, медленно побрел.

Он был не большой, Мишуха, но, по-деревенскому если считать, и не маленький. И сразу понял, к чему завернул разговор. Он давно знал, чего хочет от его сестры этот Пилюгин, потому что не раз слышал, о чем судачат по деревне. Бабы сплетни не запретишь, умолкнуть женщин не заставишь, ему было по-мальчишески больно за сестру свою, а жалел он ее уже по-мужички, потому что был уверен – Катя чистая, как родничок, молотят все зря, никогда она себе такого не позволит.

Пройдя заросли чахлой ветлы и осинника, Мишуха завернул за них, в деревню не пошел, а присел тут на землю и стал слушать, о чем они там говорят. Сквозь заросли голоса доносились глуховато, неотчетливо.

– Я тебе сказала, Артемий... Никогда, никогда этого не будет, – говорила, всхлипывая, Катя.

– И дура, – отвечал Пилюгин. – В деревне-то все равно считают... Тебе ж не убудет и не прибудет.

– Да неуж тебе мало других-то, Артемий?! – взмолилась Катя. – По всем деревням одни бабы.

– А я хочу Степке Тихомилуви одни обьедки оставить, – донесся насмешливый голос.

– Не оставишь! – воскликнула сестра.

«То-то, боров усатый, – с гордостью за сестру подумал Михаил, – а то – обьедки...» Он представил, как при последнем слове сестры скривилось сытое лицо Пилюгина, как встали его усы поперек тонких губ. Но в следующий миг он забыл об его усах, потому что в мозг пробилося что-то другое: «Тихомилуви одни обьедки?! А что ж могло у Катки быть с Тихомилуви? Жена у него, правда, перед войной померла, угорела в своем доме до смерти, до ухода на фронт один он жил, да ведь детный и на десять лет старше Катки...»

– Значит, любовь у вас со Степкой Тихомилуви была? – донесся из-за кустов голос Пилюгина.

– А не твое дело, – ответила Катя.

– Ну, как хошь, Катерина Даниловна... И чтоб сейчас же у меня обои в поле были. А кошенину вашу... я скажу, чтоб в колхоз забрали.

«Вот гад, вот гад!» – заколотилось все в Мишухе, он вскочил, собираясь кинуться к Пилюгину, но тут же что-то в нем случилось, из глаз хлынули от обиды и бессилия слезы, он вытер их кулаком и побежал в деревню.

Катя пришла почти следом – Михаил не успел детей за стол посадить, – глаза у нее были красные, заплаканные.

– Подслушивал, паразит такой! – с ходу налетела она на Михаила. – Я тебя видела...

– Не кричи давай, – огрызнулся он, тоже сердитый от всего, что произошло за утро. – Сорвалась ровно...

И словно эти слова младшего брата были самыми больными из всех, что она сегодня слышала. Попятившись, она села на прикрытую ряднинкой деревянную кровать, всегда доброе и светлое лицо ее перекосилось ненавистью.

– Паразит ты такой! – повторила она с криком. – И все вы паразиты, паразиты! Навалились на меня...

Она упала лицом в подушку, завывала, затряслась, закричала, мотая головой:

– Сдохнуть лучше, сдохнуть, сдохнуть!

Заверещала от испуга пятилетняя теперь Зойка, захныкал Игнатий, бывший старше ее годом. Донька, всегда самая из всех спокойная и рассудительная, сползла со скамейки, подбежала к кровати.

– Мам Катя, мам Катя, – затеребила она ее за подол. – Не плачь, не плачь...

– Катя, слышь, – сказал виновато и Мишуха, подошел к кровати. – Дождемся тятку вот... И дядя Тихомилов с войны придет...

Катя потихоньку перестала трястись, лишь долго еще всхлипывала, а Донька все повторяла: «Мам Катя... Ну, мам Катя...» Они все, дети Тихомилова Степана – и Донька, и Игнатий, и Захар, – звали ее мамой Катей.

Потом она тяжело пошевелилась, села на кровати, вытерла ладонью слезы, поставила между колен Доньку, мокрой от слез рукой стала гладить ее мягкие белые волосы.

– Простите меня, детки. Славные вы, сердешные...

...Все это было прошлогодней осенью, когда обильно сыпались уже листья. Сена Пилюгин так и не дал накосить, корову продали, и, как заболела Донька, Катя Христа ради выпрашивала молочка у тетки Василихи, чья корова отелилась в деревне первой. Василиха была бабой нелюдимою и угрюмой, сама она кормила троих, муж ее, Васильев Василий Васильевич, с первых дней войны был на фронте, молока она давала без всякой платы, потому что платить Кате было нечем. Но полыхавшая огнем Донька почти его не пила – так, если глотнет когда глоточек – и таяла прямо на глазах.

– К дохтуру надо, в район. Ты что ж, девка? – сказал дед Андрон, заглянувший однажды вечером.

– Да как? Я уж трижды кланялась председателю, а он лошадь не дает.

– Это почто?

– А спроси... Пешком бы понесла ее, да ведь поморожу. Морозы-то вон!

Морозы действительно завернули к середине февраля ошалелые, лопались толстые тополя, кой-где растущие вдоль улицы.

На другое утро сам дед Андрон, встретив председателя на кошаре, сказал ему:

– Ты что же коня-то Афанасьевой Катерине не выделишь? Помереть может у нее девчушка, В больницу-то...

– У всех у нас дети болеют, – ответил Пилюгин. – Простывают, стервецы. Я своих малиной всегда пою. И без всякой больницы...

– Так и она поит. Да тут к дохтуру надо.

– А пусть получше попросит, – ухмыльнулся Пилюгин. Дед стоял и молча глядел на председателя, будто еще ждал каких слов. И тот сказал: – Чего уж так она убивается? Кабы их, Афанасьевых, дите бы еще...

– Во-он что...

– Что? – пошевелил усами Пилюгин.

– А то, Артемушка... Родитель твой, Сасоний, свое нашел... И ты, гляди, не найди.

– Т-ты!!! Стручок засохший! – взорвался порохом Артемий Пилюгин и, глотнув морозного воздуха, побагровел, будто глотку ему враз заткнуло и он никак не мог этот воздух выпустить обратно, почернел даже. – Борода высыпалась, а тож... встреваешь!

И пошел, пошел, почти побежал прочь от кошары.

На третий день после этого Донька стала хрипеть и задыхаться. Возле нее метались круглыми сутками сама Катя, бабка Андрониха, Михаил, вливали ей из ложечки в рот отвары из трав и ягод, какими испокон веков пользовали в деревне детей, пробовали обкладывать ее теп-

лым, распаренным березовым листом. Но ничто не помогало: девчонке становилось хуже, изо рта ее пошел тяжелый запах.

– Нутро у нее гниет. Простудилась, это-то верно определил председатель, – мрачно сказал дед Андрон, впервые раскрыв рот после стычки с Пилюгиным.

Многими часами Донька лежала в забытьи, как неживая уже, только с бледного лобика ее катился пот. И как-то, ненадолго придя в себя, она спросила:

– Я умру, мам Катя?

– Что ты, Донюшка?! Выздоровеешь!

Девочка долго смотрела куда-то мимо Кати в одну точку, потом, как несильный ветерок, прошелестел ее вздох:

– Ведь мы все тебе помогаем, мам Катя. А если я помру... тогда тебе вовсе трудно будет.

Что-то вспухло внутри у Кати и лопнуло, разворотив грудь, заложив горло. Из глаз ее хлынули соленые слезы, она вскочила, стала обматывать голову шаленкой.

– Коленька, Захар... Смотрите все за Донькой, я сейчас...

Выскочила из дому и побежала в контору к председателю.

Но Пилюгина там не было, в холодном помещении сидела одна Мария-счетоводиха, которую все звали Марунькой, она сказала, что председатель ушел на скотный двор, там корова какая-то растелиться не может.

Но на скотном дворе она нашла лишь Мишуху да старого Андрона. Распаленные – Мишка был без кожуха, – они выкидывали в стенной проем навоз из помещения.

– Не видели Пилюгина? – крикнула Катя.

– В кузню пошел, – ответил Михаил.

– Донька-то умирает, сейчас в больницу повезу... – прокричала Катя и побежала в кузню, которая стояла неподалеку под самым увалом, а Мишуха и дед вышли за ворота, на мороз, глядели вслед ей, пока она не скрылась в кузне.

...Через полчаса Катя, красная и мокрая, будто из бани, подлетела к дому на председательской кошевке, переступила свой порог. Глотая слезы, прохрипела:

– В больницу, Донюшка!

Она замотала больного ребенка во что только было можно, положила Доньку в кошевку, доверху заполненную мягким сеном, сама стала рядом с ней на колени и хлестнула лошадь.

Шерстяная шаленка на Катиной голове еле держалась, концы болтались, но Катя этого не замечала будто. Она лишь увидела, что к дому, когда лошадь тронулась, подбежал Мишуха, крикнула ему на ходу, издали уже:

– Обихаживай детей-то...

Вернулась она через пять дней с мертвой Донькой, черная, как уголь в кузне Петрована Макеева, бесчувственная и ровно немая.

Когда Михаил с дедом Андроном выдолбили небольшую, в метр длиной всего могилку и спустили туда гробик с Донькой, Катя выдавила из себя первые по возвращении из больницы слова:

– Доктора-то сказали – кабы на три-четыре дня раньше ее, мол... Прокля-атый!

С этим возгласом она упала на маленький могильный холмик из земляной гальки вперемешку со снегом, ее еле-еле оторвали от него, увели под руки домой, уложили на кровать, с которой она не вставала до самого рокового Мишухино выстрела.

\* \* \*

Только на другой день к обеду из района приехали двое милиционеров и очкастая тощая женщина из прокуратуры. Остаток дня толклись в Романовке, вели расспросы, составляли какие-то бумаги, давали на подпись. Бабы и старики подписывались молча, и Катя за что-то

расписалась, не читая, лишь дед Андрон ставить свою подпись категорически отказался, ошеломив очкастую женщину из района словами:

– Ну убил и убил... И слава, значит, богу.

Вчера жители Романовки на такие же примерно слова Андрона не обратили внимания и сегодня будто их не расслышали, а очкастая, вскинув острый горбатый нос, изумленно спросила:

– Выходит, вы одобряете преступление?

– Я грю ему, Пилюгину, – он свое сыщёт... Как в воду глядел, значит.

И больше от него ничего не добились.

Все трое приезжих уехали вечером, как стемнело, увезли с собой Михаила.

В сани он сел молча. Но перед тем как один из милиционеров хотел их тронуть, соскочил на землю, подбежал к Кате, бесчувственно стоящей у дверей дома, и, роняя с головы шапку, ткнулся ей в грудь, заплакал по-детски горько и обиженно. Он плакал, а она молча гладила его по лохматой, давно не стриженной голове.

Поплакав, он оторвался от сестры, вытер слезы сперва одним кулаком, потом другим. И сказал:

– Ты, Кать, не убивайся. Не убивайся, ладно?

Она без слов кивнула.

Он поднял шапку, надел ее, снова сел в сани.

Мишуху увезли, и в доме Кати Афанасьевой застыла мертвая тишина. Все детишки прятались, как мыши, по разным углам, сама Катя сидела, расставив по-бабьи ноги, на деревянной кровати, застеленной ряднинкой, смотрела перед собой, не видя суетящегося возле печи деда Андрона.

– Старушонка моя печку вам прийти истопить хотела, да в поясницу ей прострел ударил, – объяснял он зачем-то. – Этот... радикулит, по-докторскому, схватил, лежит крючком. Ну да мы сейчас сами...

Растопив печь, Андрон разогнулся, оглядел сиротское семейство Кати Афанасьевой, почесал в тощей спутанной бороде. И сказал:

– Давайте так порешим, суслятки... Жить все едино придется. Бог – Он родит и жить велит. Таково мученье, хошь не хошь... Уразумели?

Не поняв этой речи деда Андрона, дети по-прежнему молчали, никто не откликнулся, и старик рассердился, будто перед ним были взрослые:

– Эк, якорь вас! Ну, да ладно, жизнюха каждого по уму добьет. Где у вас вода-то? И картохи, что ли? Жрать-то небось хотите?

Воды в доме не было, Андрон погнал Николая с ведрами на речку. Захару велел достать из подпола картошки.

– Да берегись, возле пролубки склизко, – предупредил он Кольку.

– Маленький, че ли? – буркнул тот, уходя.

Захар достал из подпола небольшую миску картошки.

– На всех вас мало, поди, будет, – покачал головой Андрон.

– Мы всегда по столь варим, – сказал Захар, круглолицый, конопатый, с рыжими волосами в кольцах. – По два раза в день. Мам Кать всю картошку перемерила и больше в день не велит. А то не хватит до новой, говорит.

– А-а, ну да... Это так, – глухо сказал дед, покашливая. – Ты старший теперь тут, ты и следи за всем. И за нормой, значит. Понимаешь?

– Что ж не понять... Не растянем до новой-то, тогда что? – рассудительно ответил девятилетний Захар. – Что же теперь, Мишуху засудят?

– Дак куда деться-то, Захарушка?... – кивнул старик. – Жизнь – круг, а в круге – суд. Послаще, как вам, ему придется.

Заревела при этих словах Зойка, самая младшая из всех, подбежала к сестре, уткнулась ей в колени. Катя, все глядя в одну точку, обняла горячей рукой ее за костлявые плечики.

Дед Андрон сварил картошку, разделил меж детьми, две картофелины оставил Кате, которая все сидела и сидела на кровати.

Загнав потом всех на теплую печку с приделанной по краю доской, чтобы спящие не вывалились (эту доску прибил еще сам Данила Афанасьев, их отец, уходя на фронт), он подошел к Кате, сел рядом с ней на кровать.

– Что наделал-то, паршивец, – сказал он тихонько.

Негромкие слова эти будто насквозь прожгли Катю, она вскочила, отбежала к печке и пронзительно закричала:

– Не-ет! Он правильно, правильно-о...

Лицо ее, доброе и красивое, было страшным, губы тряслись, в глазах дергался нехороший свет.

– Ну, зверица! – прикрикнул старик. – Еще кинься на меня давай. Разве я что говорю? Я про то, что правильно, знаю.

– Ты?! Он, Мишка... рассказал? – сразу обмякла Катя, в широко раскрытых ее глазах заплескался теперь ужас, губы побледнели. И они сами собой прошептали: – Он, кажись, приперся следом в кузню-то... Тогда я задавлюсь, задавлюсь!

– Дура, – спокойно проговорил дед, встал, пошел к двери, сдернул с гвоздя свою баранью шапку. И еще сказал, как дружески посоветовал: – Давись, Катерина. Только сперва детишек-то всех ножом переколи. Все едино сдохнут!

Последние три слова он выкрикнул уже зло и едко, боком ударил в разбухшую дверь, которая с первого раза не поддалась.

– В кузне он был, верно. Только ты знай, Катюха, – твоево Мишуху режь, так слова не вытянешь. Я, грю, Пилюгина знаю...

Он выбил плечом дверь и ушел, плотно прикрыв ее за собой.

\* \* \*

Дед Андрон нисколько не соврал – Михаил ни словом не обмолвился о том, что произошло в кузне меж Катей и Пилюгиным. Больше того, когда долбили могилку для Доньки, на совет Андрона: «Счас, Михаил, такое дело... Зачнут чего про сестру болтать – ты затыкай им глотки, ничего, мол, там меж них с Пилюгиным не было, при мне, дескать, все происходило», хрипло ответил:

– А что могло быть-то? Ничего и не было в сам деле.

– Так это ты знаешь да я, – сказал Андрон. – А у бабья язык без костей.

И больше они там ни о чем не говорили, работали молча. Когда отдыхали, Михаил, не чуя мороза, сидел на куче мерзлой земли, курил, пряча от старика воспаленные глаза, а тот, опершись на лом, уныло думал какую-то тяжкую думу.

Так же вот дед Андрон безмолвно стоял и в тот день, когда Катя Афанасьева искала Пилюгина, только опирался не на лом, а на вилы, стоял и глядел, как бежит Катя от скотного двора к кузнице, как ткнулась со всего бега в тяжелую дверь из плах, скрылась внутри. А через минуту из кузницы вышел Петрован Макеев с какой-то сумкой в руке, захромал в сторону председательского дома...

– Гляди-ка, – встрепнулся Андрон. – За закуской ить послан, пьяный пес? Самогон-то в кузне завсегда в наличии. Ну, точно, гля, пимы у председателява дома оббивает...

Говорил старик тягуче, чем дальше, тем медленнее.

Помолчав потом, покрутив туда-сюда головой, старик промолвил неуверенно:

– А прошел бы и ты, Мишуха, туда...

Михаил и сам давно уже растерян и беспомощно глядел на кузню, при этих словах он сорвался с места, нырнул сперва в коровник, схватил Заскорузлый кожушок, побежал к кузнице, натягивая его на ходу.

Тяжелая, залоснившаяся от грязи дверь кузницы открылась без скрипа. Михаил протиснулся в щель.

Кузня была перегорожена бревенчатой стеной надвое, в первой, меньшей половине с крохотным оконцем ждали своей очереди на починку бороны, лемеха, мелкие части всяких машин – сенокосилок, конных грабель, лобогреек. Петрован Макеев хранил их здесь от ржави. Тут же валялся всякий хлам – старые колесные шины, обрезки железа, разбитая наковальня, перепутанные комья проволоки...

В горновую половину отсюда вела еще одна дверь, потоньше, но тоже крепкая, обитая снаружи грязным войлоком, она была приоткрыта, оттуда пробивался жидкий свет (в горновой было два оконца) и тек теплый поток.

Михаил не раз и не два бывал в кузне, он знал, где что лежит и валяется, ни за что не запнувшись, он подскочил в полутьме к этой внутренней двери, хотел ее отмахнуть, но замер, услышав голос сестры: «Вошь ты... совсем заел. Кофту-то не рви, последняя...» – «А-а, вошь?! – прохрипел в ответ Пилюгин. – Д-дам я тебе коня... В свою кошевку запрягу. И пшеницы дам... И мяса. Всего дам, не жалко. А ты за все платить будешь, как сейчас... Не царяпайся, отцарапалась!»

Мишуха был не маленький, он, слыша возню и голоса, понимал, что там происходит. Но он был все же мальчишка, и происходящее в горновой части кузницы раздавило его, что-то едкое застелило разум, не стало давать дышать. Он стоял возле двери, прислонившись, чтоб не упасть, спиной к бревенчатой стене, потом все же ноги подломились, он стал медленно оседать вниз, задевая острыми лопатками за бревна.

Сколько он сидел на земляном полу, Михаил не знал. И где сидел – не понимал, разум его потух.

Потом сквозь звон в голове пробилось тяжкое всхлипывание, и Мишуха понял – это плачет Катя. «Ну и плачь, плачь, стерва такая! – с ненавистью и омерзением подумал он о сестре. – Потаскуха... И я сейчас зайду и плюну тебе в морду». Но он никуда не пошел, не пошевелился даже с места, потому что другим краем сознания понимал – Катка все-таки не виновата, это один Пилюгин виноват, он своими сапожищами втоптал в грязь его сестру и опозорил навеки. И еще не двинулся с места потому, что Пилюгин заговорил: «Твой отец батьку-то моего сгубил. Знаешь, поди?» Пилюгин говорил это, и в голосе его было странное, непонятное для Мишухи торжество. «Отец со Степаном приедут и с тобой рассчитаются», – ответила Катя сквозь слезы. «Ну, это еще погодить надо, – хохотнул Пилюгин. – Война – не мать родная... А покудова я всласть помну твои титьки. За все над тобой натешусь... Да не плачь ты, дура. Эка беда – из девки бабой стала. – Он еще раз уронил козлиный смешок. – Лидка моя давно уж считает, что я живу с тобой. Теперь хоть не зря, значит...» – «Коня-то... давай, – прохрипела Катя, – Донька помирает...» – «Айда на конюшню. Сам тебе запрягу».

В горновой части кузницы послышались шаги, дверь, возле которой сидел Мишуха, отмахнулась, загородив его.

Из горновой сперва вышла согнутая крючком Катя, двинулась, как слепая, к выходу из кузни, за ней, покачивая широкими плечами, прошел Пилюгин. Не оборачиваясь, он захлопнул за собой дверь, так и не заметив Мишуху.

Скрип их шагов по снегу давно затих, а Михаил все сидел и сидел на прежнем месте, онемевший. Потом обозначился в дверях кузни Петрован Макеев с набитой сумкой и, увидев Михаила, спяну даже не удивился ему, лишь протянул:

– А-а, ты... – Прошел в горновую, вернулся. – А она игде? За закуской, приказал, ступай. Лидии, грит, скажи – приказ от меня... Поворо-от!

Мишуха поднялся и молча пошел из кузни, пошатываясь, будто хмельным был он, а не Петрован Макеев.

\* \* \*

Род Пилюгиных был древний, жила молва, что прадед отца Артемия чуть ли не при царице Екатерине первым поселился здесь. Звали его Роман, оттого будто и речка, вытекающая из-за увала и за другой его конец затекающая, стала называться Романовкой, а по ней затем и деревня.

Земли тут были скудные, Сибирь, Сибирь, а ею и не пахло. За увалом опять лежали каменистые холмы, пахотная земля и сенокосы выбирались клочками, лесов не росло и в помине. Зато в холмах полно было ключей, вода из-под каменистых круч выбивалась светлая, как хрусталь, студеная, вкусная. Там, где ключи вытекали, и находилась пригодная для обработки или покосов земля – небольшие луговины, крохотные пашенки. Поля и луга по ключам так и назывались – Большой ключ, Волчий, Зеленый (на лугу, по которому он тек, было много берез, осинника, всяких кустов), Летний (зимой он почему-то иссякал).

Не все ключи впадали в речку, многие сочились в болотины или пропадали в песчаной почве. Потому речка Романовка была невеликой, мелкой, но с многочисленными омутами, в холодной глубине которых водились даже щуки.

Не щедрой была земля вокруг, да земля, из рода в род Пилюгины считали ее своей, новых поселенцев принимали с разбором, только тех, кто признавал их здешнюю первородность, в которых усматривали будущую покорность. Таких на первых порах поддерживали, ссужали и хлебом и деньгами, пользовали своим тяглом и хлебоборобными орудиями. В ответ требовали не столь материальной благодарности, хотя, конечно, принимали ее без отказа, сколько безоговорочного признания все той же их первородности, их старшинства.

Самым удачливым из Пилюгиных был дед Артемия по имени Фортунат. Имя было древнее, он гордился им и всем объявлял, что не то по-гречески, не то по-латыни оно означает – успешливый, счастливый. Так оно было и на самом деле. Фортунат имел две лавки в волостном селе и маслобойню, вел какие-то дела с семипалатинскими киргизами, до чьих степей от волости была всего какая-то сотня верст или того меньше. А верстах в полутора от Романовки поставил большую мельницу, запрудив речку меж двух длинных отлогих холмов.

Случилось это последнее в 1900 году, когда его сыну Сасонию стукнуло уже двадцать лет, он и стал там главным мельником.

Сооружение мельницы было и радостью и горем всей округи. Радостью потому, что до этого даже из Романовки возили молоть хлеб в волость, за двадцать верст, а из других деревень, лежащих вниз по течению речки, путь был еще дальше. А горем по причине, что Фортунат наглухо запрудил Романовку меж тех холмов на целых два лета. Пока наполнялась длинная, больше двух верст, котловина, речка дальше течь перестала, русло высохло, шук из омутов, как оседала вода, повыбрали прямо руками, а всякая мелочь протухла в клейком иле.

Но рыба – черт с ней, в этих местах рыбалкой никто и не занимался, баловством это считалось, главное – в первое же лето от пропавшей речки стали сохнуть нижние луга. Они и без того были наперечет, а теперь укусы ополовинились, народ зароптал. Фортунат в первое лето отговорился просто малым урожаем трав, разве, мол, не бывало когда такого, речка-де здесь ни при чем. А на другое лето стало яснее ясного, что при чем, с самой весны уже луга червивились и желтели, трава скручивалась, сохла. Мала речка, а оказалось, что некому больше землю поить: и зимние снега, и летние дожди бессильны. Люди из нижних деревень потребовали срыть возведенную из земли и камней плотину, освободить речку. «Сбесились, что ли? – багровел от нелепых требований Фортунат. – Капиталу сколь вложено... Для вас же, дураков! Чтoб не ездили с зерном за полсотни верст киселя хлебать». Но дело заваривалось

все круче, нижнереченские мужики решили силой скрыть запруду. Да не тут-то было, почти вся деревня Романовка с кольями, а то и ружьями встала на ее охрану. Вот как дальновидно благодетельствовали Пилюгины новым романовским поселенцам.

В ту зиму мор скота был сильным, еще одно такое бы лето, и предприятию Фортуната Пилюгина не пережить, да к весне огромная котловина налилась до меры, и по паводку вода потекла через плотину, падая вниз с пятисаженной высоты, покатила забытой дорогой, заполняя все омута и ямы. На одном конце широкой, тройками легко разъехаться, плотины стояло высокое здание мельницы в два привода, два огромных крепких водяных колеса весело крутились – Фортунат в благодарность романов сам положил бесплатно перемолоть весь их хлеб последнего урожая.

А через неделю уже потянулись к мельнице обозы из соседних деревень и деревушек. Молодой Сасоний, парень крепкий, белозубый и холостой в ту пору, покрикивая на работников, весело принимал помольцев, кидал шуточки молодым бабам и девкам, шустро высчитывал гарнцевый сбор...

Фортунат – по-латыни обозначало «счастливый», а жизнь Сасония, как он сам считал, складывалась еще лучше. Отец там где-то мотался из Сибири в Казахстан, глотал степную пыль, торговался до хрипоты с киргизами, а он жил на приволье, без особых хлопот и забот, при желании мог погулять и покуражиться в Романовке, как и в любой другой деревне. Размах дел, а может, и развлечений не тот, что у отца, да ему хватало, в конце концов, счастье каждый понимает по-своему, и что для одного неволя, для другого приволье.

Но сильных и долгих загулов Сасоний не любил, по каковой причине и было ему полное доверие отца. Однако лет через несколько выпивка послужила причиной вынужденной женитьбы. Стояла верстах в десяти от мельницы, на краю чахлого лесочка, большая деревня Березовка, с обширным постоянным двором и кабаком. То и другое принадлежало богатому мужику Ловыгину, была у него великовозрастная дочь Федотья, безгрудая, плоская как доска, угловатая – наколоться можно. И однажды, погуляв с вечера в кабаке Ловыгина, Сасоний по позднему времени домой не поехал, лег спать на постоянном дворе, а на заре пробудился от того, что кто-то дергал его, жарким воздухом дышал в ухо. Сквозь похмелье Сасоний обнаружил, что балуется с ним дочь самого Ловыгина, хватает горячими губами его щеки. Девки Сасонию давным-давно не в диковину, на мельнице он перемал их немало, а тут чего ж...

А в самый разгар вдруг кто-то вошел в комнату и сдернул с них одеяло – стоял возле кровати сам Ловыгин с плетью, борода его ходила ходуном вверх и вниз.

Без лишних слов Ловыгин вытянул плетью Сасония с большой щедростью, тот взвыл и скатился на пол. Не поскупился Ловыгин и для дочери, от удара она скрючилась, узлом почти завязалась, тоже завизжала.

– К попу! – рывкнул Ловыгин, все тряся бородой. – Ж-живо, блудодеи!

Не слова, а плетъ, дрожавшая в крупном, густо обросшем волосами кулаке Ловыгина, заставила Сасония скоренько натянуть штаны, сапоги. Юркая, как мышь, Федотья накинула через голову юбку еще проворнее, надела одним махом кофту, первая побежала к двери.

Плетью Ловыгин прогнал их пустой еще улицей прямо к церквухе, а там уж поп был наготове.

– Да эт вы что?! – крутнул было тяжелой и мутной еще головой Сасоний. – Не хочу под венец... с ней! Без отцовского благословения...

– Поговорь у меня теперь! – рыкнул Ловыгин. Он и в церковь явился с плетью, стоял сзади, широко расставив могучие, как бревна, ноги, загораживая выход.

Так Сасония оженити. Отец его в это время был у киргизов.

По возвращении из Казахстана он такой неожиданностью был взбешен, но последовавшим разговором с Ловыгиным удовлетворился, приехал от него навеселе и по любви своей к толкованию имен сказал:

– «Феос» по-гречески – «бог», а «дотес» – «податель». Имя Федотья означает – «бог подал». И не скупой подал, Сасонька. Живите.

Жить стали в общем согласно, Федотья баба оказалась загребушая. Так и слава, как вода в речке, потекла про нее: глаза завидушие, а руки загребушие. Сразу же по приезде на мельницу полной хозяйкой там стала она, гарнцевые поборы увеличила вдвое. «Одна мельня на округу – куда денутся, – объяснила она мужу. – В волость-то ехать с помолом еще накладней будет. Соображай».

А кроме этого завела она немалые пашни в холмах, огороды, пасеку, на которых работали мужики и бабы окрестных деревень. А там поднялись близ мельницы и обширная конюшня, коровник, овчарня, несколько крепких завозен из лиственницы железной крепости, доставленной из алтайской тайги, два длинных, разделенных на клетушки барака для работников. Мало-помалу возле мельницы, которая все крутила и крутила своими колесами, стало возникать что-то вроде собственного поселка Сасония Пилюгина с собственными батраками. Место это так и стали называть – Пилюгинский хутор, чему его владельцы несказанно радовались.

– Ну, Федоня, ну жинка у меня! – откровенно говорил Сасоний в бражные праздники, хлопал ее по костлявому заду. – Без нее-то бы я так мельником и прожил... А теперь у меня вона – хутор!

– Сказано те было – Бог подал, – вставлял обычно наезжающий по праздникам в гости Фортунат.

Родитель Федотьи, подтягивающийся в такие дни сюда же, самодовольно качал, бородой:

– Ловыгинский корень. Ко-орень!

Сворачивался подобный разговор обычно вздохом Фортуната:

– Что ж он, корень, отростка-то не дает? Наследника-то?

– Да уж тут чего... – сникал Ловыгин. – Уж тут эдак... медлит Господь. А может, дураки, сами не стараетесь?

– Да уж тятенька... тестюшка родимый! До потов вроде, а оно... – всхлипывала Федотья.

– Но, детюни, – успокаивал тогда Фортунат, щедро брал вину на свой род. – Эт мы, Пилюгины, должно, малосильные. У меня вон один всего Сасоний и зачался. Беда! Зато в другом мы уж! Да ничего, Федотья, Господь имя твоё оправдает. Не зря тако окрещена.

Оправдал господь ее имя еще не скоро. Лишь под осень одиннадцатого года начало к неопишуемой радости всех пухнуть брюхо у Федотьи, а в положенный срок и родился малец, названный Артемием...

В тот год, тоже високосный, поселились на мельнице две семьи новых батраков – старики Афанасьевы с сыном Данилкой двенадцати лет да молодожены Тихомиловы с полуторагодовалым Степкой.

Старики Афанасьевы – ему отстукивал седьмой десяток, она на восемь лет моложе – были взяты для хождения за всякой птицей, которой Федотья развела несчетное количество, в том числе невидаль по тем местам – грузных, с красными соплями индюков. Тихомиловых Федотья определила в скотники.

Года через два или три погибла мать Данилы – упала с мельничного колеса вниз и разбилась.

– Как же ты занесло туда, как?! Родимая... – хрипел старик, распластавшись на гробу, когда он стоял еще в каморке, где они жили. Он обнимал мертвую свою жену, точно хотел вынуть из гроба, а на ее место лечь сам. – Как же?!

– Как? – всхлипнул Данилка. – Утиный выводок плавал под кустами. Щуки начали его гонять, утащили одного, другого... Хозяйка-то и накинулась на мамку: «Куды, – грит, – квашня, смотри, доставай теперь утят»». И со злобы пихнула ее с плотины. А я видал все...

– Ты што?! – поднял старое, распухшее лицо отец. – Как так?

– А водой ее в желоб и затянуло тут... Желоб склизкий, ее на колесо соскользило струей, да и швырнуло...

– Врешь, сопляк! – завизжала свиньей Федотья, завернувшая на беду в каморку. – Огрызок... Убью!

Она схватила тяжелый валеk, лежавший возле печки, размахнулась и в бешенстве размозжила бы ему голову, да Кузьма Тихомилов перехватил его, вывернул из ее цепких рук.

– Одурела, хозяйка! – Он швырнул валеk на прежнее место. – В суд вот на тебя...

– В суд? А-а, в суд?! – пуще прежнего затряслась мельничиха. – Дармоеды! Кормишь вас... Убирайся отсюда! И ты со своим объедашем... – крунулась она к Афанасьеву. – Чтоб духу не было!

– Не разоряйся, ты... глиста болотная! – взорвался и Кузьма.

Федотья от такого ответа побледнела, желто-зеленые глаза ее раскалились еще злее. Вытолкнув какую-то пробку из черной зубастой пасти, она заревела:

– Сасони-ий! Ружье скорей... В глотку ему прямо! Ружье мне!

Прибежал немедля Сасоний, без ружья, правда, разобравшись в чем дело, подтвердил бесповоротно:

– Съезжай, Кузьма, отсюда немедля. И ты, старик, как жену похоронишь... Суд! Такой суд всем покажу, что и разуться не успеете.

Изрек приговор и повел из каморки Федотью, усохшую после родов почему-то еще больше, держа ее за острый бок. Но та вырывалась из его рук, отпихивалась сухими локтями, кричала злобно теперь на мужа:

– Сундук с назьмом! Прощаешь им... За клевету, за обиду мне? А я не прощу!

Вырвалась, подскочила к Кузьме, готовая вцепиться длинными и острыми пальцами в его глотку, но не вцепилась, прохрипела, задыхаясь:

– Не пырай глазищами! Я тебе их выдавлю! Вспомнишь глисту. И этому афанасьевскому сопляку... Все едино изведу вас всех! Я так решила...

Кузьма Тихомилов был не из пугливых, он потрогал коротенький, острый усик, усмехнулся и ответил:

– А задницу я твоим решением подотру.

То ли его усмешку, то ли сами слова Федотья вынести уже не могла, в тощей груди ее что-то булькнуло и порвалось, она столбом упала в обморок, на руки Сасония.

С этой-то минуты, как стали считать в Романовке, и повелась великая вражда меж Пилюгиными, с одной стороны, Афанасьевыми и Тихомиловыми – с другой. Она то убывала, то прибывала, то проявлялась явственно, то тлела незаметно, но никогда не исчезала, передавалась от старших к младшим, от отцов к детям.

\* \* \*

Данила Афанасьев родился, когда отцу его шел уж пятьдесят пятый год. «Угораздило это нас с маткой под старость, перед людьми стыдно, – говорил он сыну, умирая на другой год после гибели жены. – Она-то еще помоложе меня, а я... Были у тебя три брата с сестрицей, да все померли. А ты вот один из всех выжил, люди и звали тебя огрызком... Последний, мол. Счас вот один остаешься. Да огрызок не огрызок, а куда ж денешься, живи, сколь бог пошлет. Покуда не приберет, значит...»

Умер он, как потом объяснил Кузьма Тихомилов Даниле, от тоски по жене, а его матери, и еще от надрыва работой – всю жизнь в батраках, в унижениях, в голоде.

– Неужель от тоски умирают? – спросил тот.

– Смотря какой человек, Данилка. Ежели с большим сердцем...

Парнишка помолчал, что-то думая, проговорил:

– Так ежели большое, значит, оно ж сильное.

Кузьма рассмеялся, потрепал его по лохмам:

– Несмышлениш. Ничего, дойдешь. Как зеленый помидор в валенке.

После того как их выгнали с Пилюгинского хутора, они все вместе поселились в Романовке, в давным-давно брошенной кем-то землянке, подновив ее. Данила знал, что отец его несколько раз ездил в волость искать управу на Пилюгиных, да не нашел, сам старшина приказал его плетью гнать прочь. Но отец не уговорился, собирался ехать в уезд, да тут и слег и не встал больше.

– Ты того, Кузя... Не кинь парнишку-то, а? – проговорил он, уже отходя. – Сомнут же. Пособи хоть маленько ему окрепнуть.

– Да об чем тут говорить, – сказал Кузьма.

– Не кинем. Ты не беспокойся, – подтвердила и его жена Татьяна, пообещав это же большими усталыми глазами. – Будет Степке нашему старшим братом.

Поселение Тихомилых и Афанасьевых в Романовне подхлестнуло и без того великую ярость Федотьи, жены Сасония.

– А-ах вы?! Расположились! – рычала она, и по всему тощему телу ее будто прокатывались волны. – Убирайтесь с наших мест! И чтоб вони вашей не слышалось тут!

– Вонь-то вся от вас тут идет, – отвечал упрямый Кузьма.

– От нас?! От нас? – колотилась Федотья. – Мы всю округу кормим!

– Обдираете вы всю округу. Не вода на вашу мельницу льется, а пот да кровь людская.

– Н-ну, узнаете!

Федотья попробовала восстановить против пришлых всю Романовку. Ее слушали, соглашались с ней, поддакивали. «Да ить так, матушка, оскорбитель Кузьма... Голь перекатная, а со ндравом. Народ пошел – и Бога не боится. Достукается...» Поддакивали, а времена-то, видно, были уже не те, когда люди стеной поднялись на защиту пилюгинской мельницы, теперь никто никаких действий против Тихомилова не предпринимал. Более того, Кузьму с Данилкой наняли в пастухи, а Татьяну охотно брали в поденщицы. Тихая и работающая, она всем приходилась по нраву, а иные даже говорили ей: «Пилюгины да Ловыгины тут испокон мясогрызы. Не бойся. А Федотья – ну прямо зверица. При ей-то и помол вдвое дороже стал... Не токмо стариков Афанасьевых со свету света, всех работой задавила».

Чувствуя свое бессилие, мельничиха исходила яростью, чернела аж, а Кузьма Тихомилков к тому ж однажды принародно сказал:

– Мои хоромы жги – не подожгешь, землю огонь не берёт. А их мельня, завозни, дома – все из звонкого дерева. Не уговорится, так и подпалю, аж небу жарко станет...

– Да это что? Это что-о? – забилась Федотья в истерику перед мужем, когда до нее дошли эти слова. – Грозит, вонючка! Дожили! Что ты-то смотришь, мешок с назьмом! Тогда я сама его с ружья убью!

– Остынь ты! – осадил ее Сасоний. – Нашла себе врага... Мало тебе дел по хозяйству? Может статься, и без тебя его убьют. Война, кажись, катит...

\* \* \*

И в самом деле, в четырнадцатом году прикатилась война и, как пилюгинская плотина поперек речки, встала поперек прежнего течения жизни. Все в ней, этой жизни, для кого-то плохой, для кого-то хорошей, стало мешаться, как варево в котле.

А дальше и вовсе жизнь забурилась, заходила волнами, как тот же громадный пруд за плотинкой в сильный ветер, и людское горе горькое, накопившееся, как вода за крепкой запрудой, стало выплескиваться во все стороны, размывая и сметая всякие препятствия. И эта немислимая сила тоже яростно закрутила колеса всей жизни людской, всего бытия человеческого...

...Уходя на войну, Кузьма Тихомилов, хмурый и строгий, сказал Даниле:

– В нашей семье теперь ты старший. Татьяна тебе мать, сбереги мне ее со Степкой. Ответ с тебя спрошу.

– Дядь Кузьма! – воскликнул Данила. – Ты токо возвертайся!

– Вернись. Я вернусь! – зло пообещал он не Даниле, а кому-то. – И еще: тебе четырнадцать, считай, ты – мужик. Пилюгиных с Ловыгиным не бойся. – Проговорил это и нехорошо усмехнулся: – Они сами, кровососы, нас боятся. Это ты запомни твердо.

– Запомню, – пообещал Данила.

Он уехал на войну вместе с другими на телеге. На телеге же и вернулся через два года, худой и веселый, привез с собой винтовку без штыка, а в солдатском сидоре несколько кусков сахара, почерневших от грязи, видно, хранил эти куски не один месяц. Обнял ревущих от радости жену и четырехлетнего Степку, обнял и Данилу, спросил:

– Ну, как жили?

– Да жили, что ж... Выжили, – сказала Татьяна сквозь радостные слезы.

– Нонешнюю зиму побирались... Христа ради. Мне боле всех подавали, – проговорил маленький Степка.

– Как?! – сузил глаза Кузьма, на скулах его под жесткой щетиной задергались бугорки.

Да, после отъезда Кузьмы зиму и лето они кое-как перебились, лето Данила пастушил в паре с одним стариком, а на другую зиму стало неважно, работы никакой ни у кого, кроме Пилюгиных, не было. А чтоб поклониться Пилюгиным, Татьяна даже и думать не могла и Даниле не велела, сшила всем из мешковины три сумки, две побольше, одну совсем маленькую.

Узнав обо всем этом, Кузьма еще подергал желваками, спросил:

– А так Пилюгины, не изнуляли вас чем больше? Не изгалялись?

– Не осмеливались... – ответила Татьяна. – Люди пересказывали – довольная, мол, Федотья, что мы по Христа ради пошли, сумошники, грит, пущай похлебают, все едино передохнут все под заборами. А так не осмеливались ничего. Да им и некогда было. Сасоний, как и отец его, тоже дела какие-то с киргизами повел, все в отъездах, а у Федотьи сын Артемка все хворал почто-то.

– Ну, теперь и вовсе не осмелятся, – сказал Кузьма, вытряхивая весь свой сидор до конца. Штык-то к винтовке, оказывается, он все же привез. Замотанный в тряпье штык лежал в голенище поношенного солдатского сапога. А другое голенище было забито винтовочными патронами, желтыми, как гороховые стручки, на вес тяжелыми.

\* \* \*

Конец шестнадцатого и начало семнадцатого года Романовка, застрявшая меж отрогов Алтайских гор, прожила более или менее спокойно. «Беглый Кузьма-то Тихомилов, с солдат сбежал! – пошумела сперва Федотья. – Вот прижгут ему за бегство, Сасонию в волости обещали...» Однако время шло, никто Кузьму не трогал. Числа второго или третьего марта он уехал на попутке в волость, чтобы на воскресном базаре продать или сменить на хлеб те самые солдатские сапоги, которые привез с войны. Но базара не дождался, утром, когда с морозного неба беззвучно сыпалась искристая пыль, прибежал, запаленный, в Романовну с небывалым известием: нет больше царя!!

– Дурак, че мелешь?! – прикрикнул на него Андрон, Тогда еще крепкий пятидесятилетний мужик, бровастый, толстогубый и бездетный.

– Пилюгинская мельница мелет, а я правду говорю. Революция! – Он из-за печки вытянул замотанную в мешковину винтовку, принялся ее разматывать. – К слову, про мельницу... Эх, дурак я, вот что надо бы узнать. Ждите!

И он тем же моментом заспешил снова в волость.

Отсутствовал он несколько дней. Все время покручивала метель, последняя в том году, не сильная. Никто вроде и не приезжал в эти непогодные дни в Романовку, и будто сам ветер приносил разные слухи, один диковиннее другого: в волости на месте волостного правления образовался какой-то Совет, крестьянских начальников больше нет, а из губернии сбежал сам губернатор, налоги и долги по ссудам теперь можно больше не платить, потому как в уезде собрался какой-то съезд и он постановил сделать отчуждение от казны в пользу народа всех оброчных статей.

Вернувшись, Кузьма все это подтвердил и сказал, что надо собрать сельский сход и на нем образовать романовский сельский Совет, а далее, коль этот Совет решит, то пилюгинскую мельницу, а также ихние амбары, и завозни, и скотные дворы со всем содержимым можно забрать для общества.

Сход собрался тут же, возле тихомиловской землянки, мужики толклись и переговаривались часа три, постановили создать Совет во главе с Кузьмой Тихомиловым.

И тем же днем, под вечер, романовские мужики, забив до отказа четверо розвальней, погнали лошадей на Пилюгинский хутор. На первой подводе со своей винтовкой в руках сидел сам Кузьма Тихомил, правил ею семнадцатилетний Данила Афанасьев. Он стоял в санях на коленях, яростно махал кнутом, ветер сек нажженное морозом лицо, свистел в заиндеветых кольцах волос. Кузьма, тоже возбужденный, нетерпеливо покрикивал:

– Гони-и! Шибче!

Федотью они врасплох не застали, гостей она ждала, дом был распахнут настежь, у крыльца стояло двое саней, набитых узлами, сундуками, посудой.

– Ироды! Придет Сасоний – все глотки вам зерном нашим забьет. Глотайте!

Она выволокла из дома пятилетнего Артемку, бросила и его, как узел, на сани, сунула в руки вожжи, на другие заскочила сама.

– Не отставай! – И погнала лошадь в Березовку.

Артемка, размазывая слезы рукавом, тоже задергал вожжами.

Кузьма сбил все замки с амбаров и завозен, повесил новые, ключи положил в свой карман и велел мужикам скалывать лед с мельничных колес.

Пилюгинскую скотину распределили по малоимущим, часть зерна из амбаров тоже поделили, остальное пролежало там еще целый год нетронутое, под постоянной охраной, поставленной Кузьмой. «Што делает, змей хитрющий! – пускала слухи Федотья. – Заграбастал чужой хлеб, людям по торбочке сунул для отвода глаз, остальное себе оставил. Да еще людей же карать приспособил. Из змеев змей! Всех обвел».

И находились люди, которых начинало грызть сомнение: а не в самом ли деле? Потому что непонятное было время, путаное. С одной стороны, будто и революция, Сасоний Пилюгин и Ловыгин, родители Федотьи, зубов не показывали, по слухам, они то объявлялись где-то поблизости, то исчезали неизвестно куда. С другой – революцию будто надо было еще делать, в волости Совет не то распался, не то оказался не таким, каким должен быть. Кузьма, худой и небритый, никаких вразумительных ответов тоже дать не мог, царапал лишь грязными ногтями свои заволосатевшиеся скулы и говорил одно: хлеб пилюгинский беречь, Федотья пускает враки, хлеб в бывших ихних амбарах народный, мельня работает для всего общества бесплатно и дальше так будет.

– А революция? – подступал к нему обычно Андрон. – Произошла аль нет?

– Была. Да власть у народа обманым путем вынули. Теперь надо ее назад отбирать.

– Как так вынули? У нас вот ты от народа стоишь? Ты, что ли, у нас ее вынул?

– Так то у нас, а то там, в Петрограде, там главное-то дело.

Ничего не было понятно романовским мужикам до осени, да и после, когда Кузьма Тихомил, опять привез из волости известие, что произошла в далеком Петрограде еще одна рево-

люция, теперь та, какой и следовало быть, что власть перешла в руки рабочих и крестьян. Но в Романовке-то жизнь как текла, так и продолжала течь. Деревушку той осенью залили непрерывные дожди, даже холмы, меж которых она застряла, разбухли, казалось, от влаги, и будто еще сильнее сдавили ее со всех сторон, а зимой по самые крыши завало Романовну снегом, и сугробы будто отрезали ее от всего мира.

За всю зиму в Романовку пришло всего несколько известий: в Омске состоялся съезд Советов, который установил советскую власть по всей Западной Сибири (романовские мужики лишь плечами пожали – у них вроде и так давно уже советская власть); на Евдокию-каплюжницу, то есть первого марта, умер старый Фортунат, отец Сасония; весь хлеб, находящийся в пилюгинских амбарах, надлежало свезти в волость, а оттуда будто его должны были отправить в Омск и грузить в вагоны для голодающих рабочих Москвы и Петрограда. Да еще пошли слухи, что в Романовке будет организована сельхозкоммуна.

Ни одно из этих известий, кроме последнего, особо не удивило и не взволновало романовских мужиков и баб. Но эта таинственная, никому не ведомая сельхозкоммуна взбаламутила всех от мала до велика: что за штукаovina, отчего и зачем она?

– Для дальнейшей жизни! Чтоб, значит, легче было, – как всегда, не очень понятно объяснял Кузьма. – Совместно пахать пашни и сеять хлеб будем. Как бы одной семьей все робить... Старшего выберем.

\* \* \*

Но никакой тогда коммуны в деревне организовано не было – началась Гражданская война. Началась она для Романовки так, что и по сей день жуткое ее начало помнят и дед Андрон, и многие теперешние старухи, что молча стояли недавно перед малолетним убийцей Артемия Пилюгина. Началась с того, что отец Артемия Сасоний нагрянул вдруг на свой хутор. Было это в самом конце зимы восемнадцатого года, когда рушились последние санные дороги. В тот день ранним утром романовские мужики повезли в волость хлеб из пилюгинских амбаров. Нагрузили большой обоз и отправились по морозцу. Обоз повел сам Тихомилов, с ним был и Данилка Афанасьев да еще человек восемь мужиков. И семилетний Степка, на счастье, увязался с отцом. А к вечеру и объявился Сасоний с дюжиной каких-то людей на лошадях. Следом на мельничный двор влетело десятка с два саней, заваленных пустыми мешками, передней подводой правил старик Ловыгин.

Увидев ополовиненные амбары, Сасоний застонал от ярости:

– Не успели!

Он сел на распутившийся за день мокрый снег и сжал голову руками.

– А не торопил ли я тебя, губошлепа?! – прохрипел Ловыгин. – Хоть это еще осталось.

При амбарах постоянно жили несколько сторожей. Пилюгин, посидев безмолвно, бросил одному из своих:

– Спросить у сторожей – куда хлеб делся? После каждому забить глотку моим зерном до отказа! Чтоб подавились им!

Вот когда исполнилась годовалой давности угроза Федотьи.

Когда Сасоний со своими головорезами прискакал в Романовку, там не знали о страшной расправе с хуторскими сторожами, не могли сообразить, откуда налетел Пилюгин. Его люди, угрожая оружием, выгнали всех жителей деревни на улицу, сгрудили в одну кучу, а жен и детишек тех, кто повез хлеб в волость, принялись по указанию Пилюгина запихивать в избенку Андрона.

– Ты што устраиваешь, Сасоний? По какому это праву? – кинулся было к нему Андрон. И тут же откатился, сбитый с ног страшным ударом.

– А все теперь у меня тут! – потряс Пилюгин плетью. Разгоряченный конь под ним приплясывал. – И закон и право. – И крикнул кому-то: – Где сучка тихомилдовская, спрашиваю?!

Но двое конников уже гнали в кровь исполосованную плетью Татьяну.

– А выродок, выродок ихний где? – прокричал Сасоний.

– С отцом, грит, в волость уехал. Мы все перерыли – нету его, – ответил один из бандитов Пилюгину.

Все происходило стремительно, как в кошмарном сне. До этого в Романовке никаких особых событий не приключалось, и теперь безоружные, напуганные люди толклись посреди улицы, начинающей заплывать вечерним синим сумраком, беспорядочно галдели, как галки, бабы ревели коровами.

– Тих-хо! – заорал Пилюгин, но его окрик не мог перекрыть воющих и стонущих голосов. Тогда Сасоний лупанул из нагана, галдеж и рев попритихли, а он прохрипел: – Всех бы вас запереть в своих избах и спалить. Да я добрый... У кого какая скотина моя – согнать всю сюда. До последней овечки! Ж-живо, а то спалю этих! – кивнул он на дом Андрона. – Даю полчаса.

Люди кинулись по домам, и скоро вся улица была запружена коровами, овцами, козами. Сасоний отрядил трех-четырех своих людей, они погнали стадо из Романовки.

– Пятнадцать лошадей на мельне было. Где они? – проревел Пилюгин в лицо Андрону, который вывел из своего двора рыжего мерина. – Где ишо четырнадцать коней?

Андрон швырнул повод уздечки Пилюгину.

– Где... На них и увез Тихомилдов хлеб-то в волость.

– Мой хлеб, да на моих же конях... – скривил губы Пилюгин. – Ловко.

– Жечь, Сасоний? – нетерпеливо крикнул один из верховых. – Дай приказ, запалим.

Тот помедлил, наслаждаясь своей безграничной властью на этот момент, тем ужасом, которым были охвачены незащищенные люди. Однако отдать страшный приказ все же не решился.

– Надо бы, – усмехнулся он, обросший рыжими волосами, опухший не то от бессонницы, не то от пьянства. – Да ладно, пригодятся они мне еще. Выпустите всех из избы.

Когда обреченных было на жуткую смерть вытолкали на улицу, он опять, наслаждаясь своей властью и своим великодушием, проговорил, помахивая наганом:

– Объявляю... Хлеб, какой вы растащили с моих амбаров... и какой увезли седни в волость, по осени свезете мне на хутор. До последнего зерна чтоб. Коней тож пригоните. Советской власти осталось жить до первых цветочков, а может, того меньше... – И, повернувшись к Татьяне, сказал с усмешкой: – Жалко, что твой собачий выродок с отцом уехал... Не подойдет вместе с тобой...

Татьяна, окровавленная плетью, стояла боком к Пилюгину, скрестив руки под грудью. На его слова она только приподняла голову, повернула чуть ее.

– Собачий-то выродок – это как раз ты, – проговорила она сухими губами. – А сын мой от людей рожден.

– Ах, как жалко, – еще раз усмехнулся Сасоний. – Ну да недолго они обои тебя переживут, и муж, и сын.

И, вскинув наган, выстрелил в нее.

От выстрела люди, стоявшие вокруг Татьяны, откатнулись волной, а она осталась стоять одна, не упала, только переступила с ноги на ногу, повернувшись к Пилюгину грудью.

– Не-ет, – разжала она уже мертвые губы, – они будут жить... долго... еще.

Конь под Пилюгиным крутился. Стояла над Романовкой жуткая тишина. Только эхо от выстрела еще блуждало, запутавшись в холмах, да скрипели по снегу копыта коня, которого Пилюгин никак не мог развернуть для нового выстрела.

Наконец он выстрелил еще раз. Но Татьяна и тут не упала, только шатнулась и прохрипела кровавыми пузырями:

– Вдругорядь ты зря... Ты, пес... убил меня первой пулей...

И упала лицом в снег.

Лошадь под Пилюгиным закрутилась еще бешеной, он прокричал людям:

– Не вернете хлеб и лошадей – со всеми так же будет! С-сволочи!..

И задичавшая лошадь понесла его прочь из Романовки, следом поскакали его сообщники.

\* \* \*

А через полтора года Сасония Пилюгина, разрубленного Данилой Афанасьевым надвое, привезли на верховой лошади в село Березовку, и промороженный насквозь труп его со стуком свалился на землю.

Еще в четырнадцать лет Данила Афанасьев пообещал Кузьме Тихомилу никогда не бояться Пилюгиных да Ловыгиных, слово свое держал крепко. А в девятнадцать и вовсе ему не был страшен ни черт, ни дьявол. Самая крутая и свирепая огненная метель гуляла тогда по Сибири, и Данила вслед за своим приемным отцом и командиром Кузьмой Тихомилым, после гибели жены ставшим черным, как чугун, бросался в самое жаркое пекло отчаянно и как-то весело. Кузьму шашки и пули клевали частенько, а Данилу то ли не осмеливались, то ли не могли догнать, то ли умел он от них уворачиваться. И в памятном жестоком бою, когда Сасоний Пилюгин отсек Кузьме руку, Данила даже царапины не получил, но после боя сел на осеннюю, пожухлую уже траву возле беспамятного своего командира, выставил кверху плечи и заплакал.

Кузьма неожиданно очнулся, мутными от боли глазами поглядел на Данилу.

– Чего ты... сопли распустил?

– Почто не мне... руку-то? Я же рядом с тобой секся. А Сасоний ушел, гад.

– Перестань меня жалеть, говорю... Еще повезло, что не правую. Значит, помашу еще шашкой. А как ты их крошил, я видел. Молодец.

Подошла телега, несколько партизан уложили Тихомилова на толстую подстилку из сена. Когда клали, он, испытывая неимоверную боль, не стонал, тяжкую муку переносил молча, только по грязным щекам сползали горошины пота.

Затем Данила шагал рядом с телегой и говорил тихо:

– Этого Сасония я все едино достану. Все одно не жить ему, только бы кто раньше не успел. Отомщу за тебя, за тетку Татьяну, вот поглядишь...

Кузьма все слышал, но говорить не мог, только моргал, глазами показывая, что слышит и верит. Было это осенью девятнадцатого.

Данила Афанасьев сдержал свое слово. По первому, еще рыхлому снегу банду, возглавляемую Сасонием Пилюгиным, но фактическим командиром которой был старый и хитрый, как матерый лис, Ловыгин, партизаны заманили в Летний ключ – узкую теснину меж крутыми холмами – и начали рубить шашками. Перехитрил Пилюгина желторотый Данилка Афанасьев. Он с небольшой кучкой партизан будто бы случайно наткнулся на отряд Сасония и стал удирать в сторону Летнего ключа, а потом юркнул в самую щель меж холмов.

– А-а! – зарычал Сасоний. – Счас мы из них лапши нарубим!

– Плюнь ты, – сказал Ловыгин. – Место там тесное, в случае чего лошаденкам по снегам наверх не вскарабкаться.

– Ты что! Этот молокосос принародно базлает, что порешит меня... По всей округе слух гуляет. А тут такой случай. Кузьме Тихомилу я одну руку срезал, а ему счас обои обрублю!

– Ну, гляди, Сасоний... А я старые кости в баньке погрею. В Березовке буду ждать от тебя известий.

– Жди. Я скоро! – пообещал Пилюгин.

В Березовку, почти всю колчаковщину бывшую в руках Ловыгина, привезли не известие об уничтожении партизан, а разрубленный от плеча до паха труп Сасония. Он был перекинут через седло, заоченел на морозе и, сброшенный с лошади, согнутым бревном упал на занавоженный снег, гулко стукнув.

Всего двое из пилюгинского отряда и вырвались живьем из узкой долинки меж холмов. Они-то и рассказали: Данилка Афанасьев впереди своих ускакал торопливо в Летний ключ, в конце узкой котловины, когда можно было уже вырваться на простор, поворотил коня и снова впереди своих ринулся на сечу. А с хвоста ударил главными силами сам однорукий Тихомилов, скрытно стоявший где-то в холмах.

– И началось! Боже ты мой! – скупно рассказывал бородатый мужик, расседывая коня. – И убежать некуда – на кручах кустищи в снегах по макушки. Лошади-то ихние, Сасония и Данилки, грудями ударились, это я видел. А боле ничего не видел.

Другой мужик сказал еще меньше:

– Шашку он у Сасония выбил. Да тут же и рубанул по горбу.

Над разрубленным Сасонием выла Федотья, страшная и косматая. Потом замолкла, побегала в дом, выдернула из дверей шестилетнего Артемку.

– Гляди-и! – взвизгнула она пересохшим от ярости голосом. – И навеки запомни – это отец твой. Гляди, как его!

– Дурак он был... отец-то его, – сказал Ловыгин. – Прости Ты меня, Господи.

Артемка слушал вой матери, глядел на замерзший, окровавленный труп отца, дергал простуженным носом, хлопал испуганно глазами...

\* \* \*

Далее история Романовки особым ничем не примечательна, кроме пожара на бывшем Пилюгинском хуторе, который спалил все дотла – и мельницу, и завозни, и амбары, и бараки. Случилось это в двадцать четвертом, за полгода до организации здесь сельхозартели.

Мельница находилась тогда под началом волостного крестьянского комитета взаимопомощи, кресткомом этим начальствовал однорукий Кузьма Тихомилов. Вообще после казни жены он в Романовке почти не жил. Сперва партизанил, после два года мотался по всей округе во главе продотряда. Зимой двадцать третьего, когда на обоз с зерном, мясом, свиным салом и мороженым молоком налетела какая-то банда, был снова тяжело ранен в голову, свалился в кусты и замерз бы там, если бы не сынишка Степка да не Данила Афанасьев, неотлучно сопровождавшие его повсюду. Продуктовый обоз из шести тяжело груженных саней тогда удалось отстоять и пригнать в волость, и только там, когда запаленные лошади остановились, обнаружили, что ни на одной из подвод Кузьмы Тихомилова нет. Ни слова не говоря, Данила Афанасьев вскочил на свежего коня, двенадцатилетний теперь уже Степка – на другого и помчались к месту стычки с бандитской шайкой. Там и нашли полузамерзшего своего отца и командира, лежавшего в заснеженных кустах. Придя в себя, он сказал:

– Неужто все сволота Ловыгин гуляет? Сасония Пилюгина остудили, а этот все не успокоится.

– Не должно, чтоб он, – засомневался Данила. – Он и при Колчаке трусливо поджимал хвост.

– Молокосос! – рассердился Тихомилов. – А я кишкой чую – не с Пилюгиным мы дрались, а с Ловыгиным. Да хитер был, как старый лис. Ну, я его выслежу!

Но выследить Ловыгина, отца Федотьи, что была женой Сасония Пилюгина, не удалось ни тогда, ни после. Федотья, настоявшая похоронить своего мужа в его родной деревне, в Романовке, а сама после Гражданской жившая безвыездно в Березовке, в большом отцовском доме, на допросы об отце говорила:

– Откуда я знаю, где он? Тут жил, покуда вы с шашками по холмам скакали, пушай, грит, скакают, доскакаются... – И начинала размазывать слезы по худым щекам. – А после и сгинул. Утром встала – а его кровать остыла. Может, от вас сбежал со страху, а может, сами вы его и вытянули тайком с постели... Оставили меня с дитем несмышленным!

– Ты не ври, Федотья! – пробовал было Кузьма проявить строгость. – И не пускай мне тут длинные сопли. Где он таится? А не то...

– А вы поищите! – зверела Федотья. – Че грозишь, пес однорукий? Мужика вы моего убили, мельню отобрали. Кабак давным-давно перестал быть, постоялый двор тожеть... Ну, кони ишо есть у меня, хлеб сею, батраков держу – так это вашим законом дозволяется, все они в вашем батрачком записаны. Налоги я плачу полностью. Значит, и не пужай, а то обмараюся.

– Ну, гляди! Поймаем его, тогда и вправду накладешь. Уж наведем с тебя спрос. За укрывательство бандита.

– Ишь ты! – уперев руки в бока, выставлялась Федотья. – Натянул кожанку – и грозишь! Не за укрывательство спрос хошь навести, а за вонючку свою. Да я-то при чем? Жену твою Сасоний убил. Он – ее, а вы – его. В расчете, значит. Начисто искрошили друг дружку люди, Господи, где ж Ты?!

Пожар на бывшем Пилюгинском хуторе возник не сам собой. Глухой и душной июльской ночью из холмов бесшумно вышли какие-то люди, из больших бидонов щедро облили керосином и без того пересохшие за лето мельницу, каждый амбар, каждый барак и подожгли. Сколько было этих людей – неизвестно. Пустых бидонов потом насчитали больше дюжины. Если каждый нес по два бидона, значит, поджигателей было человек шесть-семь. Постройки взялись все разом, небо окрасилось ярким заревом, закачалось, будто там, наверху, полоскалось кровавое, невиданных размеров полотнище. Бараки тогда пустовали, лишь в одном жил Андрон с женой да двое холостых парней, выделенные обществом для обслуживания мельницы. Они едва успели вывалиться в окошки из пылающего костром барака, причем у жены Андрона затрещали и вспыхнули разлохмаченные во сне волосы, она, пронзительно завыв, горящей головешкой покатила по земле, Андрон метнулся к ней, сорвав на ходу исподнюю рубашу, обмотал ею горящую голову жены, чтоб затушить огонь. Огонь затушил, но когда разматывал обгоревшую рубашку, волосистой пепел стал комьями падать с ее дымящейся головы вместе с лохмотьями кожи.

– Сердешная... Глаза-то видят?! Видят?

Она моргнула вспухшими, без ресниц, веками раз-другой.

– Вижу вроде маленько. Ох, да все одно смертынька...

– Ничего, ничего... Бог-то милостив, может.

И он, подхватив жену под мышки, пятясь задом, поволок ее прочь с освещенного пожаром места в темноту.

Поджигатели не имели, видно, задачи убить находящихся при мельнице людей, подпалив постройки, сгинули во тьме так же бесшумно, как и подкрались, оставив только пустые бидоны да следы сапог на пыльной земле. Кузьма Тихомилов, прискакавший утром на хутор, оглядел эти следы, кучи дымящихся еще головешек, сказал угрюмо:

– Ловыгина рук дело. В какой же щелке он таился, ящер, а? Ишь, как попрощался.

– Это как попрощался?

– Неделю назад Федотья, дочь его, исчезла из Березовки. Вместе с сыном. Дом бросила, скотину – все! Как без скотины-то, без домашности всякой? Чем жить, где-нито? Значит, вместе с отцом смоталась. А тот награл у за Гражданскую.

– Во-он чего-о! – протянул Андрон.

Кузьма посидел молча на старом жернове, валявшемся на дворе бывшей мельницы, молча выкурил две самокрутки одну за другой, разогнулся и сказал со вздохом:

– Ладно... Колхоз будем в Романовке делать. Артелью жить. А тут мы новую мельницу поставим, колхозную.

В артель романовские мужики и бабы сошлись в начале нового года, сошлись без особых сомнений и опасений, авторитет Кузьмы Тихомилова тут сделал свое дело. Весной дружно и щедро отсеялись, осенью собрали добрый урожай, все были с хлебом.

И пошла жизнь дальше, снега и выюги все глуше заметывали прошлое кровавое время, вешние воды и память о нем замывали все глубже.

\* \* \*

... Через месяц стало известно, что за убийство Пилюгина Мишуху Афанасьева осудили на восемь лет, что такой небольшой срок ему дали еще по малолетству и по малолетству же отправили не в тюрьму, а в исправительную колонию для несовершеннолетних преступников.

На суде Катя Афанасьева не была, сперва все собиралась поехать, а в день начала суда нервы ее не выдержали, она свалилась опять пластом. На суде были дед Андрон и хромоногий кузнец Макеев, со дня убийства Пилюгина находившийся, к удивлению всех, в полной трезвости. Они-то и привезли все эти известия, рассказали Кате, что Мишуха на вопросы судьи о причинах убийства Пилюгина твердил одно: «Донька у нас помирала... А Пилюгин подводу не давал, чтоб в больницу ее свезти...»

– Как же он теперь там будет, Мишенька? – всхлипывала Катя. – Ворье же одно там, спортят его...

– Не, не поддайся. Он на суде-то открылся... больше, чем за всю жизнь, – сказал дед Андрон с такой серьезностью, будто Мишуха был ему ровесником и бок о бок они прожили целый век.

– Как открылся? Чем? – подняла Катя измученные, мокрые глаза.

– Дык, передайте, грит, Кате, что все я вынесу... И ничего со мной не случится. А скоро, мол... – На этом месте кузнец Макеев неловко кашлянул, зажал рот черной от угольной пыли и железной окалины ладонью, покачнулся, переступив с ноги на ногу, половицы под ним скрипнули. И этот кашель, этот скрип будто смутили деда Андрона, он почему-то заюлил глазами, растерянно выронил еще три слова: – Скоро того, мол...

Темные зрачки Катиных глаз дрогнули, она требовательно спросила:

– Чего – того? И чего – скоро? Ну?

– Дык... Скоро, мол, сказал Мишка, батя с войны придет... и дядя Степан, – вытягивал из себя слова Андрон, стараясь не глядеть на нее. – А там, грит, и я отсижу и вернусь.

– Скоро... – выдохнула Катя.

– Дык, Катерина! Война-то к концу катит. Не слушаешь по радио, что ли? – воскликнул дед Андрон строго, будто уличая и осуждая Катю за незнание важных и очевидных вещей. – Наши-то вон уж куда зашли, за какие рубежи! И в полячью землю, и в эту, как ее...

– В румынскую, – подсказал кузнец.

– Ага, ага, – кивнул старик белой головой. – И в других местах, во многих, на край нашего государства немца отогнали. Вот, сказал Мишка, соберемся все и заживем!

Но чем воодушевленное говорил старик, тем все отчетливее слышала Катя в его словах какую-то фальшь, все более в груди ее что-то каменело. Вопросительно сдвинув брови, она повернулась к кузнецу. И тот тоже задергал глазами, пытаясь куда-нибудь деть их, да было некуда, и он промолвил:

– Все так, Катерина. А покудова, Катерина... уж как-нибудь. Я вот зарок дал... насчет самогонки-то проклятой.

– А чего мне твой зарок?

– Оно конечно. Тебе-то что... – Кузнец опять потоптался на скрипучих половицах. И непонятно к чему прибавил: – Мишуха-то был уже работник. А теперь четыре рта на тебя одну. – И он кивнул на забившихся во все углы ребяташек. – А что на трудодни-то дают? Ничего не дают...

Катя тяжело, будто ноги перестали ее держать, опустилась на крашенную синей краской табуретку, уронила на колени руки. День закатывался, низкое солнце еще доставало до окошек, жидкие лучи обливали ее худые плечи, обтянутые поблекшей кофточкой.

Так она сидела долго, неподвижная. И неподвижно стояли перед ней два человека – старый Андрон и хромоногий кузнец Макеев. И притаившиеся в разных углах дети не шевелились, замерли, в избе стояло мертвое безмолвие. Гасли и без того тусклые солнечные лучи, падавшие через холодные окошки, в избе будто становилось все глуше, а Катины плечи торчали еще сиротливее.

– Что это вы от меня скрываете? – вдруг спросила она, тяжело поднимаясь. Голос ее был еле слышен.

– Господь с тобой... Да ты чего?! Чего? – взмахнул старик костлявой рукой.

– Я же чую... Что еще стряслось? Говорите! – наступала на них Катя, сжав кулаки. А старик и кузнец пятились. – Добивайте уж сразу... Сразу!

Со страху заплакала в углу Зойка, девятилетний Захар Тихомилов, самый старший теперь, шагнул к ней, дернул за косицу, и она покорно замолкла.

– Сбесилась, что ли?! – грубо сказал кузнец, останавливаясь. – Детку-то чего зря пугаешь?

– Господь с тобой... – еще раз повторил Андрон, и оба они друг за другом торопливо вышли из избы, как из жаркой парной бани.

– Поворо-от, – выдохнул на крыльце Макеев. – Надо было тебе про это... что вот-вот с войны-то придут. Она ж обратное заподозрила. А в районе-то не велели нам ничего...

– Умолкни, без тебя тошно! – сердито прервал его Андрон. – Взял бы да сам и говорил с ней. А то все жался в стенку... ровно девка на первой вечерке.

На поздней улице Романовки никого не было, дед Андрон и Макеев прошли несколько метров будто враги – молчаливо, не глядя друг на друга. А потом оба враз остановились, услышав истошный крик:

– И-ироды! Не прощу-у!

Это кричала Федотья Пилюгина, мать Артемия. Она, одетая в вытертое плюшевое пальто, неряшливо замотанная в шерстяную, домашней вязки, шаль, торопливо бежала из переулка, на костыль не опиралась, а яростно колотила им, как палкой, по мерзлой дорожке.

Подбежав, старуха оперлась обеими руками о костыль, повисла на нем и, шумно дыша, некоторое время старческими своими глазами молча жгла то того, то другого, словно дед Андрон да хромоногий кузнец и были самыми заклятыми ее врагами.

– Чего разбозлалась, старая карга? – произнес дед Андрон таким тоном, будто сам-то был молодой. – Чего тебе еще?

– А спросить... Это как – всего восемь годов за зверское убийство, а? И то не кого, а председателя колхозу порешил сопливец! Не прощу! В район сама поеду...

– А ступай, ступай, – вроде даже искренне поддержал ее кузнец.

– Артемушке орден был даден на войне. Зазря, что ли?

Из переулка в жакете нараспашку выскочила Лидия, вдова Пилюгина, а за ней сын Пашка.

– Мама, ну что ты себя растравляешь? – подбежав, закричала Лидия. – Идемте, мороз-то какой.

– Заткнись, телуха безрогая! – закричала на нее дряхлая Федотья. – Мужа твоего сказнили, а она на коленки перед имя...

– Не на коленки. Да что ж теперь...

– Баба, айда, правда домой, – потянул Федотью за рукав и Пашка. – Баба...

Однако старуха оттолкнула внука, приподняла угрожающе костыль.

– Вот обхожу вас обоих... по башкам-то пустопорожним!

Угроза была, видать, нешуточная, потому что и Пашка и Лидия невольно отшагнули назад. Они отшагнули, а дед Андрон усмехнулся.

– Атаман ты, как Сасоний твой, царство ему...

– Вспомнили! – окрысилась Федотья. – А теперь другие времена. Теперь Артемушка, сынок его, жизнь на фронте за народ клал. Рану тяжкую принял... Тяготы такие перенес, а тут вонючий собачонок афанасьевский горло ему перекусил!

– Баба, баба... – опять проговорил Пашка и неосторожно придвинулся к Федотье. Никто не успел и глазом моргнуть, как старуха, взмахнув костылем, огрела внука по голове. Костыль был тяжелый, из закорюченного березового обрубка пальца в два толщиной, да и сила у старухи, оказывается, еще имелась – Пашка от удара рухнул на дорогу как подкошенный, громко заревел от боли.

– Господи, господи! – простонала Лидия, сперва подобрала слетевшую с сына шапку, потом стала поднимать его самого. – Сынок, Пашенька. Пойдем, сынок, айда...

Она подняла его и повела прочь. Ни слова больше не говоря, повернулся и зашагал к своему дому дед Андрон. А кузнец Макеев еще потоптался на дороге и произнес:

– Бабы вон чего про тебя говорят? Зверицей ты была да ею так и осталась. Помирала бы скорей. А то всю жизнь внучатам своим закроешь. Пашке-то с Сонькой.

И только проговорив это, двинулся к кузне.

– Да уж выращу! – хрипела ему вслед Федотья. – Чтобы знали они... почем люди.

\* \* \*

Было начало апреля, солнце пригревало щедро, съедало на крышах последние лохмотья снега, он с утра истекал сильной капелью, единственная улица Романовки почернела, оказалась, как всегда в эту пору, сплошь покрытой навозом.

В воскресный полдень по этой-то улице, когда с крыш уже не капало, а лило, и подъехал на плетеной кошевке к колхозной конторе худой, болезненного вида человек лет сорока, в потрепанной офицерской шинели без погон, несмотря не теплынь, в наглухо завязанной под подбородком шапке-ушанке.

Это был секретарь райкома партии Дорофеев.

Покашливая, он вылез у конторы из своей кошевы, вынул оттуда костыль. Незнакомый ему мальчишка лет тринадцати тащил за веревку мимо конторы довольно большие санки, на которых лежал пустой бочонок для воды, а малолетняя, годов девяти, девчушка с ведром в руке шагала сзади.

– Эй! – махнул им Дорофеев костылем, подзывая.

– Чего тебе? – спросил мальчишка, останавливаясь, но не подходя.

– Вот лошадь на конный двор отвести надо. Сделай, пожалуйста.

Мальчишка помедлил, потрогал обернутую мешковиной крышку бочонка.

– Нас бабка за водой послала. Не видишь?

– Да ведь конюшня-то вот, рядом, – сказала девчушка. – Я отведу, а потом догоню тебя.

Говоря это, она поставила ведро в передок санок и шагнула было к конторе, но мальчик властно остановил ее:

– Куда? Мы ему не нанимались...

И потащил санки дальше.

Прищуриив черные, с нездоровым блеском глаза, Дорофеев некоторое время глядел на сердитого мальчишку, на виновато шагавшую сзади санок девчонку. Потом, опираясь на костыль, волоча негнущуюся правую ногу, стал подниматься на невысокое крылечко конторы.

В конторе, как много дней подряд, сидела одна Мария-счетоводиха и перебирала свои бумажки. Вообще-то она вела всю, не столь уж, правда, и сложную, колхозную бухгалтерию, но по укоренившейся издавна привычке ее называли счетоводихой.

– Здравствуй, Мария, – громко сказал Дорофеев.

– Здравсте! – вскочила она, красивое лицо ее пошло от волнения неровными пятнами. – А я сию тут, как сова оглохшая, и не слышу.

Бывшая по совместительству колхозной почтальонкой, она год назад сама и получила на почте похоронную на мужа. Понимая, что содержится в таких казенных конвертах, она, едва увидев на нем свою фамилию, смертельно побледнела, тихо и беспомощно, как ребенок, застонала и без чувств грохнулась на дощатый пол.

С тех пор и осел у нее немножко слух.

Дорофеев развязал шапку, снял ее, а шинель снимать не стал, присел на стул возле пустого председательского стола, поежился.

– Знобит, что ли, вас? – спросила Мария.

– Сидит какая-то зараза внутри, – ответил Дорофеев. – Никак не выйдет.

– Вам в больницу бы лечь полечиться... А вы все по колхозам мотаетесь.

– Вот закончим войну, и лягу. Теперь недолго уж, – ответил он, кивнул в окошко, на дорогу, по которой мальчишка с девчонкой утаскивали свои санки: – Это чьи ж такие?

– Эти-то? – переспросила Мария, тоже поглядев на улицу. – Так это Сонька с Пашкой Пилюгины.

– А-а, ну, ну... – промолвил Дорофеев и, распахнув шинель, вытянул негнущуюся свою ногу, начал растирать колено.

– Они у них в Березовской школе учатся. На воскресенье домой ездят.

Краснота со щек Марии начинала сходить, лицо становилось опять красивым и привлекательным.

– Как Афанасьева-то Катерина? – спросил Дорофеев, закончив растирать ногу и прикрыв ее полый шинели.

– Так и живет, – ответила Мария. – Как мертвая. А этот, Пашка Пилюгин, со шкворнем по деревне так и ходит. «За тятку, – говорит, – изведу всех Афанасьевых и Тихомиловых». Один раз и вправду отколотил ихнего Кольку до крови. Катька теперь детей из избы не выпускает, боится. А как в кошару уходит – на замок их замыкает. На кошаре она работает.

– Вон какие дела, – уронил Дорофеев. – Соловей-разбойник выискался.

– Бабка Федотыха все его наушает. «За отца, – зудит, – неужто простишь?» Лидия, жена-то его, и та говорит: «Задохнешься же ты, мамка, от злости». А старуха и на нее с костылем. «Сучка, – орет, – радуешься, что от мужа избавилась!»

– Радуетса? – поднял брови Дорофеев.

– Этак бабка ее попрекает, сама я слыхала. А так кто ее знает? С Катькой никогда не здороваются, встренутся как, отвернется. А так ничего...

Мария помолчала, думая о чем-то, сказала:

– Радуетса, нет ли, а облегченье ей вышло. В узел Артемий с матерью Лидию завязали. А кобель-то Пилюгин был, уж кобе-ель!

Щеки Марии снова пошли пятнами, она села за свой скрипучий столик, уткнула лицо в какую-то амбарную книгу.

Еще прошло в молчании с минуту.

– Не проговорились вы ей про похоронные? – спросил Дорофеев.

– Не-е... Ничего покуда не знает.

Похоронные на отца Кати, Данилу Афанасьева, и на Степана Тихомилова пришли с разницей в неделю всего. Мария не знала, как ей отдать первую, спрятала ее глубоко в облезлом конторском шкафу между старых бумаг, потом испугалась, что кто-нибудь случайно полезет в шкаф, замок которого был сломан и ключ потерян еще в незапамятные времена, и обнаружит казенный конверт. Этого никогда не бывало, в шкаф ее, единственный в конторе, никто не лазил, даже председатель, но она все же унесла конверт домой, засунула на самое дно сундука со всякой рухлядью. В это время судили Мишку, Катя Афанасьева, бесчувственная, валялась на кровати, и Мария боялась, что известие о гибели отца она совсем не вынесет. А тут на почте приняла второй такой же конверт и, как в тот день, когда получила похоронную на собственного мужа, едва-едва не грохнулась опять на пол.

В деревню Мария ехала, кажется, целую вечность, лошадь тащила медленно, через силу, будто в санях лежала не обыкновенная почтовая сумка с двумя-тремя газетами и этим единственным письмом, а какая-то невероятная тяжесть.

Ночью Мария не спала, а наутро, сунув оба конверта во внутренний карман старенькой фуфайки, побежала на скотный двор, к деду Андрону.

– Во-от! – простонала она, торопливо, будто это были раскаленные угли, сунула ему конверты, один уж порядком измятый, другой более или менее свежий, оперлась плечом об стенку коровника и тяжело зарыдала.

Мария плакала, а дед Андрон распечатал один конверт, другой. Молча он прочитал одно извещение, потом другое, обе бумаги оглядел с другой стороны, будто надеясь обнаружить там опровержение того, что написано на первой, и молча опустил на кучу соломенных объектов.

– Что делать-то? – все рыдала Мария. – Отнеси ты. Я не могу.

– Умолкни ты! – прикрикнул дед Андрон.

Покоряясь грубому требованию старика, Счетоводиха размазала вылившиеся слезы по щекам и пересилила себя, замолчала. А дед сказал:

– Пойду с Петрованом Макеевым обтолкую. Посоветуемся... А ты покуда молчи.

К вечеру они с Макеевым уехали в район, пробыли там до окончания суда над Мишкой, а вернувшись, сообщили Марии, что ходили аж к самому Дорофееву, обсказали все ему об Пилюгине Артемии, обо всем пилюгинском роде, что секретарь райкома обещал, насколько можно, судьбу Мишки облегчить, и что-то, видно, сделал, а то дали бы Мишке за убийство не восемь лет, а побольше. И Дорофееву же отдали похоронные, он забрал извещения, велел покуда молчать про них, сказал, что сам приедет в Романовку и отдаст их Афанасьевой.

– Вот и пушай, – сказала на это Мария. – Он начальник, так и пушай.

И вот Дорофеев приехал.

\* \* \*

Федор Григорьевич Дорофеев секретарем райкома партии работал всего с полгода. За это время уже дважды побывал в Романовке. Первый раз приезжал осенью, на чем свет стоит откостерил Артемия Пилюгина за плохую уборку.

– С кем скоро убирать-то? – отбивался Пилюгин. – В колхозишке вон всего два мужика – хромой кузнец да дед Андрон. Андрону восьмой десяток идет, а кузнец пьянчужка...

– А ты-то от него отстаешь, что ли? – сердито спросила вдруг Мария. Она проговорила это, ни на кого не глядя, не отрывая головы от бумажек, Дорофеев и Пилюгин прекратили ругань, оба повернулись к ней, будто ожидая дальнейших слов. Но она, уткнувшись в стол, больше ничего не сказала.

– Тут разрываешься на части. А тут попрекают... всякой ерундой, можно сказать! – снова загремел Пилюгин.

Но секретарь райкома его осадил:

– Ты разрывайся, а дело делай. А этот грешок за тобой водится, говорят. Гляди, Пилюгин, мы не посмотрим, что ты фронтовик... Тем более спросим!

Второй раз секретарь райкома приезжал в Романовку уже по снегу, в последний день ноября. Объявился Дорофеев в деревне раным-рано, еще до восхода солнца, был он обросший, угрюмый, негнушущую свою ногу волочил тяжелее, чем раньше, будто за месяц-другой она налилась свинцом. На этот раз он не ругал Пилюгина, велел ему собрать всех людей в конторе.

Всех-то и собралось человек тридцать, набились кучей в тесный председательский кабинет, пришла и жена Пилюгина Лидия. Женщины молча ждали, что скажет секретарь райкома.

Последней зашла Катя Афанасьева, молча прижалась спиной к стене. Была она в изношенной до предела, отцовской еще, тужурке, подпоясанной обрывком ременных вожжей, черная юбка понизу и с боков залатана ситцевыми заплатками, на ногах разбитые резиновые боты. Лишь голова ее была повязана более или менее целым, без дыр, шерстяным платком, но эта единственная приличная вещь в ее одежде как-то не замечалась, может быть, потому, что из-под этого платка на мир смотрели невеселые, до предела уставшие глаза.

Дорофеев на какое-то мгновение задержал на ней взгляд, отвернулся, спросил:

– Все, что ли?

– Совсем уж старухи которые, те по домам еще остались, – ответил Пилюгин. – Позвать?

– Не надо.

– Да еще кузнеца Макеева растолкать не могут. Судить подлеца за пьянство! Каждый вечер, как свинья, нажирается.

В это время в контору донесся стук молота о наковальню. Все невольно повернули головы к окошkam, поглядел туда же и Дорофеев.

В безжизненных глазах Кати что-то шевельнулось, она скривила сухие губы:

– Засудить можно... Тогда ладонями пахать будем, а пальцами боронить.

– Ты тут не издевайся, Афанасьева, – бросил Пилюгин. – Эй, кто там, позовите кузнеца.

– Не надо, – опять сказал Дорофеев, подошел к Кате. – Так это ты и есть Афанасьева Екатерина?

– А вам-то что? – враждебно спросила Катя.

– Да ничего... Я человек в районе пришлый. Просто слышал многое об вашем отце.

Так Дорофеев увидел Катю Афанасьеву в первый раз.

Когда он подошел к Кате, зрачки Пилюгина тревожно забегали, а при последних словах секретаря райкома под плохо выбритыми скулами председателя шевельнулись желваки.

В тот второй свой приезд Дорофеев сперва долго рассказывал о положении на фронте, о том, что в войне наступил давно перелом, вот и Киев недавно освобожден, советские войска гонят немцев с нашей земли и скоро ее полностью очистят от оккупантов, но пока всему народу тягостно, нелегко достаются победы над сильными еще и озверелыми фашистами, вот и в вашей деревне тяжело...

– А делать-то что, дорогие вы мои женщины? – спросил Дорофеев в полной тишине, и этот вопрос, эти слова – «дорогие вы мои женщины» – выжали кое у кого беззвучные слезы. – А делать нечего, кроме как работать... Ну, худо-бедно, весь урожай вы убрали, хлеб в скирды сложили, а с хлебосдачей на последнем месте. Пилюгин, председатель ваш, говорит, что выдохлись все у вас полностью, некому хлеб тот обмолачивать и государству отвозить.

– А так и получается, что некому, – проговорил дед Андрон. – Что он, врет, что ли?

– Да не врет, – согласился Дорофеев.

– Осень-то какая стояла? – уныло спросил старик. – Дожди захлестали прямо. А чего в мокреть намолотишь? Как установились морозы, зачал я с бабенками помалу обмолот. Молотил у нас, слава богу, есть и ниче, работает, опять же кузнец Петрован, золотые руки, всякие в ней железки отладил. А приводной ремень гнилой. Токо, зараза, и рвется. Мы больше его сшиваем, чем молотим. Одна-кошь по два-три воза в день отвозим на заготпункт.

– Знаю, – кивнул опять секретарь райкома.

– А больше што можем? – выставил дед вперед козлиную бородку. – Шкирдовать школьники с району помогли, а то б мы и нашкирдовали вам. А с ноября они учатся.

– Учиться тоже им надо, отец...

– Всем надо... А вон Катькины дети, Мишуха с Захаркой, не ходят в школу! – с обидой выкрикнул дед Андрон.

– Почему ж не ходят? – задал Дорофеев вопрос и в ту же секунду понял, что не надо было его задавать: Катя опустила голову, плечи ее затряслись, женщины, находившиеся в председательском кабинете, перестали, кажется, дышать.

С улицы по-прежнему доносился равномерный стук молота о наковальню.

– В Романовке и начальных групп нету. А в Березовку, где школа-то, на голодную смерть ей отправляют их? – произнесла какая-то женщина. – Да и в чем, спросить? Раздетые на печке сидят, как котят.

– У нас нынче один председатель только и отправил туда своих, – добавила другая.

– А вы все – давай работу, давай хлебосдачу. Хорошо тебе в кошевке ездить да требовать. Влез бы в нашу шкуру-то!

– Скоро задохнемся от этой работы... Один Пилюгин в деревне останется.

Пилюгин, сидевший недвижно сбоку своего стола, пошевелился, стул под ним скрипнул. Но сказать – ничего не сказал.

Долго молчал и Дорофеев, стоял, обернувшись к окну, будто хотел получше расслышать звуки, доносившиеся из кузницы. Говорить ему было трудно теперь, это все понимали, а больше всех, видно, Мария-счетоводиха.

– Бабы! – выкрикнула она сдавленно. – Уж если вовсе стали все без понимания, так я скажу. Я в районе-то бываю, так слышу, об чем говорят там про него... про Дорофеева. У него нога вон гниет, доктора в область лечить отправляют, а он по району мается. А за какой тоже интерес? А вы упрекать...

– Ты, Мария, оставь мою ногу в покое! – резко обернулся от окна Дорофеев. – У всех у нас что-нибудь болит. У каждого свое горе. А есть еще для всех общее... – Дорофеев прислонил к стенке костыль, шагнул от окна к столу. Пилюгин, не вставая, пододвинул навстречу ему поудобнее единственный свободный стул, но Дорофеев не сел, он только оперся о спинку стула обеими руками так, что побелели суставы пальцев. И проговорил несколько фраз негромко, раздумчиво, будто про себя: – Я в разведке служил. Приходилось мне бывать в тылу у немцев. Вы слышали, конечно, чего эти звери на нашей земле творят. А увидеть это своими глазами – никому не приведи господь...

И ничего вроде бы нового и особенного не было в этих словах Дорофеева, но женщины притихли, будто чем-то пристыженные, все, кто сидя, а кто стоя, опустили головы.

А кузнец все стучал и стучал в своей кузнице.

– И не требовать я приехал, женщины, – добавил Дорофеев. – Чего требовать, коли каждая и так хлещется изо всех сил. Приехал попросить вас... Уж больно нужен хлеб фронту.

Опять возникло молчание, долгое и тягостное. Потом снова скрипнул стул под Пилюгиным. Но на этот раз он поднялся и глухо проговорил:

– Товарищи колхозницы... Он правильно, товарищ Дорофеев, – не требовать, а попросить. И надо подумать, как выйти из невозможного. А как, если конкретно? Чего можно придумать? Вот, товарищ Дорофеев, все наличные силы колхоза перед вами. Тут как начнешь думать, так голова кругом...

– От самогонки, как у кузнеца, – зло выкрикнул от дверей надсаженный голос.

– Кто там клевету разводит?! – вскричал Пилюгин. – Ты, что ли, Фроська?

– Я, я! – И низкорослая, юркая молодая женщина в черном полубубке, сквозь многочисленные дыры которого торчал мех, выдвинулась вперед. – Петровна Макеева ты хаишь...

Оно за пьянство кто его хвалит? А Катька вон правильно говорит: мы ж за ним горя не знаем. Плуги-бороны тебе все откует, лобогрейки, сенокосилки к самому сроку отладит. Да сдохли без него бы ведь совсем!

– Ты если хошь, так по делу говори, – прохрипел Пилюгин. – Про хлебосдачу тут речь, а не про кузнеца.

– А я про что? – шагнула к нему Фроська. – Макеев пьет, да дело разумеет.

– Коль я не разумею – зачем в председатели ставили?

– Да мужик же, думали! А ты мужик лишь на выпивку... на одно только это дело!

– На два-а... – протянула вдруг стоявшая в углу жена Пилюгина, подняла тяжелые, ненавидящие глаза на Катю Афанасьеву.

Голос Лидии еще не затих, как в председательском кабинете снова установилось безмолвие. Бойкая бабенка Фрося как-то виновато закрутила головой в пестром платке, втиснулась в кучу людей. В этой тишине раздался громкий всхлип, и Катя Афанасьева, ударив плечом дверь, вылетела наружу.

Дорофеев обвел всех взглядом. Но угрюмо сидевшие и стоявшие перед ним женщины старались спрятать от него глаза.

– Не гожусь, так снимайте с поста. – Пилюгин зловеще резанул глазами по своей жене, стал опускаться на скрипучий стул. – А с этой хлебосдачей... Ну, могу, конечно, сам у моло- тилки встать...

– А почему бы тебе не встать?! – свистящим голосом произнес Дорофеев. Глаза его сузились, заблестели, на лбу то возникали, то исчезали поперечные морщины. – Я понимаю, у кузнеца работы хватает. Но сейчас ноябрь, времени для ремонта инвентаря еще с излишком. Почему бы и его не поставить сейчас на обмолот? Вот уже два человека... к тому ж мужчины.

– Я все ж таки... инвалид. С моим-то здоровьем... – промолвил было Пилюгин.

– А я не инвалид?! – рявкнул Дорофеев по-мужицки и весь затрясся. Но тут же опомнился, взял себя в руки. Дрожащими руками приподнял за спинку стул, переставил его чуть на другое место. – Простите...

Это последнее слово он произнес глухо, почти шепотом, на какие-то секунды опустил глаза. И тут же, поднимая их, заговорил уже ровно и спокойно:

– И у кого здоровье лучше? У Андрона Игнатьевича, может? Или вот у этой женщины... Фрося? Чего там прячешься?

– Я-то? – смутилась женщина. – Чего мне прятаться? Не невеста.

– Как твоя фамилия?

– Да Устинова я. С Катькой на кошаре работаю.

– У тебя лучше здоровье, чем у Пилюгина?

– Так оно как? За день наломаешься – так и не знаешь, осталось в тебе чего живого али нет. Идешь и за стены держишься. Еще и заря не зарится, а ты уж опять голову с подушки рвешь. А она как чугунная, голова-то... А тебе, Лидка, при всех скажу – зря ты трещишь на Катьку! – обернулась она вдруг к жене Пилюгина. И тут же, в полной тишине, бахнула: – Уж коли на то пошло – ты б на меня, паскудницу...

– Ефросинья! – побагровел Пилюгин от крика.

– А что, не было, что ли?! – стремительно обернулась она к нему. Круглое лицо ее побагровело от злости в эту минуту, как-то заострилось, стало неопрятным и некрасивым. – «Фросенька, Фросенька, обзолочу...» Вот, обзолотил! – тряхнула она полами рваного полушубка. – Все вы, мужики, – подлюки. Как бабу берете, так города отдаете, а после и деревеньки жалко... А Катька, чтоб ты, партийный начальник, знал, чистая. Чистая...

И с этими словами она тоже выскочила из конторы под смех и возбужденный говор женщин. В углу конторы тяжело всхлипывала Лидия, но ее никто не утешал, как-то никто будто

и не замечал ее плача. В получившейся обстановке Дорофеев чувствовал себя неловко, глупо топтался у стола.

– Вот... выдали ее такую... клеветницу, – промямлил Пилюгин, растягивая пальцем воротник гимнастерки. – Обмазала при народе при всем грязью.

– Я не в грязи вашей приехал копаться! – воскликнул Дорофеев. – Давайте думать, как обмолот и хлебосдачу наладить... А с тобой, Пилюгин, видно, разобраться надо будет.

Обмолот и хлебосдачу Дорофеев в тот раз наладил, из Березовского колхоза подтащили еще одну, стоявшую там без дела молотилку, из МТС пригнали для нее колесный трактор, помог Дорофеев и новые приводные ремни достать, на двух молотилках работали теперь в две смены все от мала до велика – и Петрован Макеев, и сам председатель Пилюгин, и Мария-счетоводиха, Мишуха Афанасьев... Ребятишки помоложе Мишухи под командой Фроськи Устиновой (на кошаре Катя делала всю работу одна) по десять – двенадцать возов пшеницы в день отвозили на заготпункт. А вот разобраться, как обещал, с Пилюгиным Дорофеев не успел...

\* \* \*

Семья у Кати Афанасьевой поубавилась, да за столом, когда Дорофеев зашел в их домишко, было все равно не очень просторно. С одного края сидели Захар и Колька, с другого Зойка и Игнатий. Склонив круглые, неровно стриженные ножницами головенки к чашкам, они, постукивая ложками, хлебали какое-то варево. Даже Зойка была острижена наголо, и Дорофеев знал, что это от вшей. Мыла-то люди который год в глаза не видели, мылись щелоком – теплой водой, в которой была разведена чистая древесная зола. Такая водица была на цвет черно-серой, на ощупь чуть мыльной, пены никакой не давала, но считалось, что это лучше, чем простая вода.

Сама Катя сидела на конце стола, обращенном к печке. Увидев в дверях Дорофеева, она поднялась. В глубоко провалившихся глазах ее, под которыми за последний месяц набрякли синеватые мешочки, плеснулись одновременно и удивление и испуг. А когда следом за Дорофеевым вошли дед Андрон и кузнец Макеев, Катины глаза вовсе заledenели.

– Здравствуйте, – произнес Дорофеев.

– Я те и говорю, – кормит она сейчас своих птичек, – сказал дед Андрон. Он старался выговаривать слова как можно проще и веселее, но это-то его старание Катя сразу уловила, набухшие жилки на ее открытых висках сильно задергались, она, не меняя положения, протянула руку к шестку, взяла валявшуюся там посудную тряпку, прижала ее к груди. Побелевшие пальцы, которыми она сжимала тряпку, тоже подрагивали. Это ее состояние передалось и детям, повернув на вошедших круглые головенки, они глядели на них с откровенным страхом.

– Ты че ж, Катерина, не здороваешься-то с начальством? – спросил дед Андрон, снимая шапку.

– Поели – идите, – мотнула Катя детям головой. Те немедленно поползли из-за стола гуськом, шлепая по полу босыми ногами, один за другим скрылись в горнице. Всего-то в доме и было два помещения – кухня да комната за дощатой перегородкой, которая и называлась горницей. Последним, как старший, зашел туда Захар, прикрыл за собой филенчатую дверь.

– Ну... – дыхание Кати было частым и неровным. – Что еще стряслось? Я же чувствую... Бейте сразу. Не жалеючи.

Дед Андрон вешал на стенку у дверей свой вытертый полушубок, но то ли одежда была слишком тяжела, то ли уже сил в руках не стало – все никак не мог дотянуться до гвоздя.

– Да ничего не стряслось, – сказал Дорофеев негромко. – Мы просто с Петрованом Макеевым да с Андроном Игнатьевичем по делу к тебе, Екатерина Даниловна. Мне-то можно раздеться?

– Чего ж спрашивать... – Испуг в глазах у Кати еще не прошел, но сквозь него шевельнулся живой огонек. – Господи, у меня прямо сердце захолонуло, то ли с Мишкой что там, думаю, то ли... От отца какой месяц письма нету. Да раздевайтесь. – Она бросила на стол свою тряпку, шагнула к Дорофееву, все стоявшему у дверей во весь рост, взяла у него шапку.

– Спасибо... – Он расстегнул шинель, повесил ее рядом с полушубком деда Андрона. А Катя уже сгребла со стола чашки. Составив их на шесток, она той тряпкой, которую недавно держала в руках, обмахнула голый дощатый стол, когда-то выкрашенный, теперь местами облезлый, облупленный. Дорофеев, постукивая костылем, прошел по кухне, сел на табуретку возле окошка, за которым играла веселая капель. Дед Андрон с кузнецом примостились на скамейке у дверей.

Катя бросила тряпку на чашки, прикрыла их, скользнула все же беспокойным взглядом по старику с кузнецом, по Дорофееву.

– Какое такое дело ко мне?

Дорофеев сидел к ней чуть боком, руки его лежали на поставленном между ног костыле, он глядел на сыпавшуюся за окном стеклянными горошинами капель и, будто не расслышав ее вопроса, со вздохом проговорил:

– А пожалуй, Катя, хотелось бы каждого... Да как в такое-то время?

Эти слова и то, что он назвал ее просто Катей, тотчас будто снова стегнули по живому, ноги ее сами собой подогнулись, она, крепко держась за край стола, медленно опустилась на табуретку.

Дорофеев смотрел в окно на льющуюся капель, но краем глаза видел и Катю, обостренно чувствовал ее состояние.

– Поэтому мы тебя не пожалуй хотим, а поработать попросить, – быстро проговорил он. Она шевельнула бровями.

– А то я не работаю, что ли?

– Да на той работе попросить, какую батька твой в колхозе делал, – сказал от дверей дед Андрон.

Смысл этих слов не сразу дошел до нее.

– Как это? Погодите... Я ничего не пойму.

– Что ж тут понимать-то, Екатерина Даниловна. Сеять скоро. – Дорофеев кивнул за окно. – Кто-то должен и людей организовать. И за все дела отвечать.

– С ума вы сошли! – Катя встала растерянно. – Это... на место Пилюгина, что ли, меня хотите?

– Пилюгин, Пилюгин! – вскричал дед Андрон, поднимаясь. – Да ты это слово не произноси даже! Сказано тебе было – на место отца твоего!

За тонкой филенчатой дверью временами начиналась возня ребятишек, но тотчас возникающий было шум покрывал приглушенный мальчишеский голос: «Сыть-тя, язви вас!» Это Захар, понимающий больше других, что на кухне идет серьезный разговор, утихомиривал младших. И те подчинялись беспрекословно и мгновенно.

Встал и секретарь райкома Дорофеев, сделал несколько шагов к двери, повернулся.

– Ты сядь, Андрон Игнатьевич. Катя... Я уж так, по-отцовски, буду тебя называть, можно?

Катя даже не ответила, она, чтобы скрыть переполнившую глаза влагу, низко опустила голову. Тяжелый пучок зачесанных назад и схваченных на затылке тесьмой волос свалился на левое плечо, обнажив по-детски худенькую шею. В груди у Дорофеева, видно, что-то сдавило, он громче застучал об пол костылем, проходя на прежнее место.

– Мы вот, Катя, посоветовались, – кивнул Дорофеев на деда Андрона и кузнеца. – И с женщинами я говорил. И все сошлись на одном – попросить тебя взять теперь колхоз.

– Да я вам мужик, что ли?! – воскликнула она в отчаянии. – Вон Петрован пущай!

– Да я же пью, Катерина, – сказал кузнец.

– Ты ж бросал. Зарок дал.

– Зарок, он на срок. Дать-то дал, да у меня не заржавеет и обратно взять.

– Тогда Андрон, может...

– Мог я, Катерина, через плетень лазить, а теперь мотней цепляюсь, – с грустной усмешкой проговорил старик.

В горнице опять загалдели ребятишки, заплакала Зойка, Катя ладонью смахнула со щеки все-таки выкатившуюся слезинку, встала, шагнула к двери, распахнула ее.

– Ну чего?

– Да вот, расхныкались, ровно маленькие, – послышался голосишко Захара. – На улку побегать им приспичило. Я грю – мокро же там...

– Отправляйтесь, – скомандовала Катя.

Колька, Игнатий и самая маленькая, Зойка, – все враз вывалились в кухню, за ними, не торопясь, вышел и Захар. Одеты все были в рваньё – в заплатанные штаны и рубашонки, у Зойки сквозь дырку в боку просвечивало белое тельце.

– Господи, да когда же ты успела продрать? – остановила Катя свою младшую сестренку, некоторое время с тоской рассматривала дырку.

– Да оно, Кать, само порвалось, – проговорила испуганно Зойка.

– Ступай, ладно.

Колька с Игнатием уже сбрасывали с печки замызганные, тоже в заплатках и дырах пальтишки, Захар из-под скамейки, на которой сидели посторонившиеся дед Андрон с кузнецом, выволакивал разбитые ботинки, сапоги, старые резиновые боты. Не обращая внимания на взрослых, попискивая, как галчата, ребятишки стали все это рваньё натягивать на себя. Катя, присев на корточки, застегивала пальтишко на Зойке. Пальтишко было самодельное, выкроенное самой Катей из старого байкового одеяла, оно нелепо торчало на девочке каким-то коробом. На ноги Зойке Катя натянула чулки из овечьей шерсти, тоже собственной вязки, зашнуровала ей ботинки, потом пальтишко подвязала веревочкой.

Дорофеев с грустью наблюдал за этими сборами, за всей суетой, дед Андрон и Петрован Макеев на детей не глядели, все это им было привычно.

– От дома мне не отходить, – приказала Катя, выпуская всех в сенцы. – Пашка вон седни рыскает по деревне. Ты слышь, Захар?

– Я понял, понял... – крикнул Захар уже из глубины сенок. Он был старший, но тоже ребенок, и вперед всех выскочил на улицу.

Закрыв за детьми дверь, Катя, опять ставшая какой-то постарелой, устало прошла на прежнее место, положила на стол тяжелые руки, повернула голову к окну. За стеклом все сверкала и сверкала капель, доносились снаружи приглушенные голоса ребятишек, а в доме все равно сделалось тихо и мертво, будто и не было тут четырех взрослых людей.

Приехав час назад, Дорофеев попросил Марию обежать деревню, пригласить в контору кого можно, кроме Афанасьевой, а когда женщины, кузнец и дед Андрон подошли, без всяких предисловий, хмуро как-то сказал:

– Райком партии рекомендует в председатели вашего колхоза Афанасьеву Екатерину. Что вы, женщины, скажете?

С полминуты, может, в конторе стояла полная тишина, а потом угрюмая Василиха торопливо, будто боясь, что кто-то ее опередит, выкрикнула:

– А хорошо мы скажем, вот чего!

Женщины задвигались, зашумели, и непонятно было сперва, одобряют они кандидатуру в председатели или отвергают, пока кладовщица Легостаева, пожилая баба с глубоко изъеденным оспой лицом, недавно получившая похоронную на первого из трех сыновей, воевавших на фронте, перекрыла шум резким своим голосом:

– Ну-к, притихните! – И повернулась к Дорофееву: – Это вы там в райкоме правильно. Девка молодая, грамотная. И столь горя нахлебалась, что все человечьи заботы понимать станет. Мы согласные.

– Может, кто-то и против выскажется? – спросил Дорофеев. – Пилюгина здесь?

– Тут я, – негромко проговорила от дверей Лидия. – Только я тоже против не выскажусь. Ну а свекровь мою уж не спрашивайте.

– Не спросим. – И Дорофеев кивнул ей благодарно. – Тогда я сейчас пойду уговаривать Афанасьеву. А завтра, коль она согласится, и собрание проведем.

Женщины стояли и сидели притихшие, ожидали, видно, от секретаря райкома еще каких-то слов. Но он лишь сказал невесело:

– А горе свое, дорогие женщины, Афанасьева Екатерина до конца еще не выхлебала. Так что это хорошо, что вы ее поддержите. Ну, все тогда, спасибо вам. А ты, Андрон Игнатьевич, и ты, Макеев, оставайтесь.

Когда женщины ушли и контора опустела, он сказал им:

– Попрошу я вас... со мной пойти к Афанасьевой. Тянуть про похоронные больше нельзя. Но одному-то мне с ней... Давайте-ка уж втроем.

И вот они были у нее втроем. На предложение возглавить колхоз Катя не ответила пока ни «да», ни «нет». Она все сидела у окна и глядела на капель. Может, с минуту, может, больше в комнате было тихо и мертво, возвращаться к прежнему разговору каждому было трудно.

Дверь в горницу, из которой только что выбежали дети, так и осталась раскрытой, прямо напротив дверей в простенке висела небольшая застекленная рамка с пожелтевшими фотографиями. Дорофееву в открытую дверь горницы была видна эта рамка.

– Можно, я посмотрю? – спросил он.

Катя поняла, чего он хочет посмотреть, кивнула. Дорофеев встал и прошел в горницу.

Перед этой рамкой, опираясь на костыль, он стоял долго. Потом, не оборачиваясь, проговорил:

– Это вот, Катя, и есть твой отец?

Катя поднялась, тоже пошла в горницу. Когда она стала рядом с Дорофеевым, он показал на фотографию.

– Это, – подтвердила Катя.

Карточка была старая, желтая, с обломанными углами. На ней Данила Афанасьев, одетый в кожаную куртку, при пашке, стоял возле пулеметной тачанки, одна рука у него лежала на рукояти пашки, а другой он обнимал неловко и стыдливо прильнувшую к нему худенькую девчонку в пестром платьишке, с туго зачесанными назад, как сейчас и у Кати, волосами.

А рядом была карточка побольше, тоже давних времен, и на ней тоже был изображен Данила Афанасьев с той же девчонкой. Впрочем, теперь это была молодая женщина, одетая в длинную черную юбку и просторную кофту навыпуск, на голове завязанный под подбородком, платок. Она стояла возле трактора «фордзон», опираясь на грабли, так же как на первой фотографии, чуть смущенно и виновато улыбалась, а за ней, досасывая самокрутку и тоже чему-то улыбаясь, находился Катин отец в измятом пиджаке, в подпоясанной под пиджаком рубахе. На сиденье трактора сидел какой-то парнишка, вокруг трактора, неумело позируя фотографу, стояли, вытянув руки по швам, человек восемь мужиков и баб.

– А это, видимо, твоя мать? – спросил Дорофеев.

– Ага, – кивнула Катя. – Это они снялись, когда первый трактор в колхоз пришел. Мама в тридцать девятом померла... как Зойку рожала.

Дорофеев все стоял и стоял недвижим, все рассматривал карточки. Стоял до тех пор, пока не раздался голос деда Андрона:

– А вон тою пашкою Данила, ее отец-то, и разрубил напополам родителя Артемия. Сасония-то Пилюгина.

– Вот как! – воскликнул, оборачиваясь, Дорофеев. Дед Андрон стоял в дверях горницы. Потом Дорофеев глянул на Катю, она сухо сказала:

– Рассказывают, что так... Сам отец об этом говорить не любил.

И быстро пошла в кухню.

... Через некоторое время все опять сидели на прежних местах, и секретарь райкома партии Дорофеев говорил:

– Колхоз, Катя, у вас небольшой. Каких-то триста гектаров пашни. Полсотни овец, восемнадцать лошадей, три десятка дойных коров. Справишься, Катя, берись давай. А мы поможем. Завтра же вот соборем всех колхозников, собрание проведем.

– Ну что вы заладили, – по-прежнему отбивалась Катя. – Детишек-то я куда?

– Что ж они, маленькие у тебя, что ли, Катерина? – глухо проворчал Макеев. – Титьку сосут? Зойке – и той пятый год кончается.

– Дак не сосут, а глаз за ними какой нужен?

– Да присмотрим, присмотрим, – мотал бородой Андрон. – Я, старуха моя, тетка Василиха... Всем-то колхозом! Ты ж десятилетку кончила.

– А старшего, Захарку тихомилковского, я в кузню возьму. Где поддержит чего, где подаст покуда. А там и молоток в руки. Так и делу обучу.

– Значит, порешили, Катя, – подвел итог Дорофеев и поднялся, пошел к вешалке, стал натягивать шинель.

– С ума сошли... с ума сошли, – все повторяла Катя, растерянная, пока они одевались у двери.

– Давай, Екатерина Даниловна... До завтра, – сказал Дорофеев и вышел.

По расквашенной апрельским теплом улице он шел мрачный, сильно втыкал свой костыль в унавоженный снежный кисель. Шел быстро, хромоногий Макеев и старый Андрон еле за ним поспевали. Лишь у самой конюшни остановился.

– Завтра я, значит, подъеду на собрание.

– Так что ж... про похоронки-то? – спросил кузнец.

– Не мог я... Язык не повернулся.

– Как же теперь?

– Не знаю, – угрюмо сказал секретарь райкома. – И вас прошу – молчок, покуда.

\* \* \*

Из Романовки Дорофеев уезжал под звон той же капели. Правда, она стала реже и тяжелее, деревня блестела мокрыми черными крышами. В небе, по-весеннему уже высоком и голубом, стояло веселое солнце.

Оно находилось еще далеко от горизонта, но длинный апрельский день потихоньку истек к концу, прозрачный воздух становился все свежее. Лошадь нехотя тащила кошёвку по расквашенной улице, предвечерний холодок уже схватывал снежно-навозное месиво, полозья шипели, разрезая его. Дорофеев коня не торопил, он, забыв про вожжи, тоскливо глядел на свои вытянутые ноги. Его по-прежнему знобило, шапка опять была наглухо завязана под подбородком, из плетеного коробка уныло торчали его худые плечи, обтянутые вытертой шинелью.

Проезжая мимо домишка Кати Афанасьевой, он услышал галдеж ребятишек. Потом увидел и их самих. Самая маленькая из них, Зойка, в своем нелепом пальтишке топталась на краю снежной лужи и колотила по воде хворостиной, а Игнатий и Колька, подпрыгивая, пытались палками достать и сбить свисающую с крыши самую длинную сосульку.

– Зойка, перестань! Промокнешь, майся потом с тобой, – кричал ей Захар. – Игнат, Колька, проклятые! Заразы такие. По башке-то долбанет сосуля если... Колька!

В это время тяжелая сосулька рухнула вниз, действительно чуть не воткнувшись острым концом в плечо Николая. Он успел отскочить, сосулька разлетелась на десятки осколков, тотчас все, кроме Захара, схватили по ледяному куску и принялись грызть.

– Ну-ка, бросьте! Кому сказано? Заложит глотки-то! – С этими словами он принялся отбирать у Зойки ледышку.

– Неслухи такие... – Захар отобрал у девочки ледяной осколок, бросил в лужу. – Мало у мамы Кати без вас-то горя.

Когда Дорофеев был от дома и от ребятишек на порядочном расстоянии, до него еще доносились их голосишки:

Николая: «Главное-то горе – что письма от папки давно нету. Катька плачет ночами, я слышал».

Зойки: «А почто нету? Почто долго так нету?»

Захара: «Откудова я знаю. Разное может быть... Вот Марунька-счетоводиха как захворает – так и не ездит на почту-то. Может, и там какой почтальонщик захворал. Прийде-ет! Вот на неделе Марунька поедет и привезет».

«Привезет...» У Дорофеева все большее и большее начало сдавливать сердце.

...Катя в это время стояла у окна и смотрела, как удаляется кошевка Дорофеева. Руки ее были сложены под грудью, пустые глаза ничего не выражали – ни радости, ни беспокойства. Они были пустые, и все, и, казалось, она не видела ни Дорофеева, ни черной унавуженной дороги, избегающей за деревней на холмы, ни самих этих холмов, верхушки которых уже освободились от снега и купались в прозрачном апрельском солнце.

Потом руки ее тяжело упали вниз, она вздохнула, повернулась, снова подошла к рамке с фотографиями, долго смотрела сперва на ту карточку, где отец и мать были сняты возле пулеметной тачанки, а потом на другую, где они стояли у трактора. «Мама, мама...» – вздохнула Катя. Она помнила, как мать умирала. В последнюю уже минуту Катю пустили к ней в палату. Никого не пустили, а ей разрешили, и мать, вот так же виновато, как на этой карточке с трактором, поглядела на нее и потухающим голосом произнесла: «Катенька... кровинушка моя... Ты батьку обихаживай... И детишек береги. Мишку с Коленькой и эту, последнюю... Зоинькой назовите ее. Как-нибудь уж живите...»

«Живите...» Катя вспомнила, как мать произнесла это слово уже бескровными, неповинующимися губами, голос ее не прозвучал, а так, еле слышно прошелестел и затих, она медленно закрыла измученные глаза и больше уж их не открывала.

Вспомнила – и еще раз вздохнула Катя...

\* \* \*

Женился Данила Афанасьев в двадцатом, всего через две недели как увидел Аришку, худенькую, черноглазую девчушку в постиранной насквозь кофтенке и рваной юбке. Тогда, в мае месяце, партизанский отряд Кузьмы Тихомилова, едва-едва не распущенный по домам, поскольку остатки колчаковских войск отогнали далеко в Забайкалье, неожиданно подняли по тревоге и двинули на Алтай – там загорелся какой-то антисоветский мятеж. Остаток мая и весь июнь однорукий Кузьма Тихомилов и его неизменный помощник Данила Афанасьев по горам и долинам гоняли белокулацкие банды. Однажды глухой ночью, когда выдохнувшийся от бесконечных погонь и боев отряд в мертвецком сне лежал в горной деревушке под Змеиногорском, Данилу кто-то стал дергать за сапог:

– Дяденька партизан... Проснись, скорее!

– Кто? Что?! – вскочил Данила, выхватывая маузер. Он спал в пулеметной тачанке, поставленной из предосторожности поперек улицы. Над горами только-только занимался рассвет, а улица, пролежавшая будто по дну ущелья, была еще темна. Во мраке Данила не сразу

различил стоящего у тачанки человека, а как увидел – схватил за шиворот, чтоб подтянуть к себе и разглядеть получше, но тут же и отдернул руку. – Баба, что ль?! Чего надо?

– Ага, Аришка я, – услышал он в ответ лихорадочный шепот. – Я с хозяйской заимки прибегла. Они идут сюда, чтоб сонных вас побить...

– Кто идет? Откуда?

– Да вон, гляди!

В чернильной темноте дальнего конца улицы Данила разглядел крадущихся людей. Почему они пешие и сколько их – раздумывать и считать было некогда. Лента в пулемет была заправлена им на всякий случай еще перед сном. Данила мгновенно развернул его, крикнул девчонке: «Дуй отсюда!» – врезал очередью вдоль улицы. Однако вместо того, чтобы уйти, девчушка кошкой прыгнула на тачанку, затрясла Данилу за плечо:

– Дяденька... глянь назад!

Данила, не переставая стрелять, повернул голову: по противоположному концу улицы мчалась на тачанку плотная толпа конников с шашками наголо, лошади неслись, будто не касаясь земли – стука копыт не было слышно.

– Развернись! Развернись им навстречу! – взвизгнула Аришка, подхватывая патронную коробку, чтоб переставить ее на другую сторону.

– Ишь ты, раскомандовалась, – нашел даже время сказать Данила, торопливо разворачивая пулемет в противоположную сторону. Натыкаясь на свинцовую струю, лошади стали падать кучами и биться на земле, всадники валились с них тяжелыми мешками, шлепались в пыль, иные вскакивали и куда-то бежали, иные так и оставались лежать. Трупы лошадей и людей быстро завалили узкую улицу, об них спотыкались и падали все новые лошади, образуя пробку, а Данила, яростно ощерясь, все стрелял в эту жуткую кровавую кашу, осветившуюся загоревшимся вдруг каким-то домом, не обращая внимания на то, что делается позади него. Слыша вспыхнувшую вокруг стрельбу и беспорядочные взрывы гранат, он понимал, что разбуженные пулеметом партизаны дерутся теперь с бандитами и сзади него, и по всей деревушке. Он строчил, а девушка, не обращая внимания, что по плечу ее, смочив всю кофточку, течет кровь, подправляла и подправляла ленту...

Бой был короткий, но яростный, небо еще не разбелилось, как он кончился, в разных концах деревушки, когда стихла стрельба, что-то горело, в темном небе стояло несколько желтых зарев. Данила в течение всего боя так и не сошел с тачанки, а как все закончилось, он, не обращая внимания на суету полураздетых партизан, на крики и вой деревенских баб, перематывал тряпкой Аришкино плечо, вскользь задетое пулей, и спрашивал у нее:

– Ты это кто ж такая, а?

– Да здешняя, только из другой деревни родом. Верст за сорок отсюда. Мать померла. Отца на германской убили. А брата прошлогд колчаки.

– Откуда с пулеметом-то умеешь управляться?

– А я с братом в отряде тож была. В таком, как ваш.

– Во-он что!

– Ага... И пытки колчаков перенести пришлось. Как брата-то в бою убили... в том бою и меня живьем схватили. Ну, били так, что не приведи господь! И прикладами колотили, и сапогами пинали. Расстрелять хотели, да какой-то усатый ихний офицер пожалел: спихните, говорит, ее в овраг, сама подохнет, а то пулю еще тратить. В том овраге-то и постреляли всех пленных. А меня, значит, пожалели, живьем туда сбросили. Пролежала я меж мертвых до вечера, а по темноте уползла.

– Понятно... – сквозь стиснутые зубы выдавил Данила.

– Ну, сперва кой-как по добрым людям перебивалась. А как маленько выправилась – в работницы пошла. Жить-то как? Одна я осталась. Хозяину не сказала, что в партизанах была, разве б взял он меня тогда... На заимке-то у хозяина седни вечером и собрались все эти, – она

кивнула на валявшиеся вокруг тачанки трупы. – Копыта лошадям, договариваются, тряпками обвернем, чтоб не стукотали, подкрадемся неслышно с двух сторон. С одной пешие, с другой конные. Коней у них на всех не хватило. Перебьем, дескать, сонных, как курят. Я сразу сюда и кинулась... Долго бежала, займка-то отсюда верст восемь.

Рана у Аришки была пустяковая, она ее не беспокоила, девушка не ощущала даже никакой боли и, рассказывая все это, улыбалась. Чтоб ее перевязать, Даниле пришлось разорвать окровавленный рукав кофточки, а потом и тесемку лифчика. При этом лифчик соскользнул, оголив небольшую остренькую грудь. Аришка воскликнула и быстро прикрыла грудь. «Да ладно уж», – сказал он строго. А потом, обматывая худенькое ее плечо, стал невольно косить на ее грудь, которую она прикрывала кусочком разорванной кофточки, и вдруг стал чувствовать, как горячий жар наливается в голову.

Закончив перевязку, он накинул на девчушку свою кожаную куртку, лежавшую тут же, в тачанке, сказал зачем-то:

– Надо поглядеть, как развиднеет, ухлопали твоего хозяина или нет.

– Он вроде не собирался идти с ними.

Потом они замолчали. Девушка нахмурилась, раздумывая о чем-то. И проговорила:

– Возьмите меня с собой в отряд... А то люди видят, что я вот здесь, хозяин меня за это изведет.

– Изведет? Мы вот спрос сперва учиним ему, что бандюков навел. Прощать, что ли, за то!

– Все равно – возьмите, – попросила девушка.

– Ну, это как Тихомилов. Он командир, – хмуро ответил Данила. – Баб у нас в отряде никогда не бывало.

– А ты попроси его. Еду буду вам стряпать, стирать... Да мало ли чего? И стрелять могу, если надо. С нагана, с пулемета...

– Попроси... – еще раз буркнул Данила, глянул на нее исподлобья и вовсе вдруг смешался.

Только что была смертельная опасность, шел смертельный бой, и Данила, привычно делая то, что следовало в такие минуты делать, был собран, энергичен и ловок, и, перевязывая потом окровавленное плечо девушки, он несколько не смутился поначалу, потому что и это было привычно, а теперь почувствовал себя неуклюжим, неловким, какая-то сила сковывала и язык и движения, он не знал, куда деть свои руки с большими, заскорузлыми ладонями, с вьевшимся в них навечно металлом от железной рукоятки шашки, пороховой гари, конского пота. Да и не только руки, весь он, наверное, пропах этими запахами, да еще кровью, которой видел в свои небольшие в общем-то годы немало. Вот какой запах от него идет, а эта девчушка черноглазая не морщится даже, сдерживает, ишь, себя...

К тачанке подскакал Кузьма Тихомилов, единственной рукой оперся о седло, прыгнул на землю. При этом пустой рукав его кожаной куртки мотнулся, описав круг.

– Как же они, сволочи, дозорных-то сняли! – шумно выдохнул Тихомилов. – Заснули, что ли?

– Теперь вот гадай – как? – проговорил Данила. – Перед самой зарей я еще проверил посты – вроде все было нормально.

– Нормально, нормально... – буркнул Тихомилов. – А это с кем ты тут? Пого-одь! С бабой, значит, прохлаждаешься?!

– Какая ж баба?! Не видишь – девчушка. Она и предупредила. Растолкала меня вовремя. А то бы... Ранило вот ее.

– Во-он оно что! – сбавил тон командир отряда.

Через неделю ранка на плече девушки затянулась без следа, а через две она стала женой Афанасьева. Кузьма Тихомилов, узнав, какую роль сыграла Аришка в разгроме бандитских налетчиков, не только разрешил ей остаться при отряде, но поручил Даниле лично следить

за излечением ее раны. Может, так просто, от доброты поручил, а может, по какой другой причине. Во всяком случае, тем же утром, когда брызнул солнечный свет и при этом свете Тихомилов увидел, как Аришка, взглянув на Данилу, смущенно и растерянно опустила глаза, командир отряда, отведя своего помощника в сторону и погладив обрубленное свое плечо, проговорил:

– Ей-богу, на Татьяну она мою чем-то похожая.

– Вот уж, дядь Кузьма, не сказал бы, – возразил Данила.

– Ну, много ты понимаешь! – вспыхнул командир. – Чтоб лично мне следил, как рана ее заживает!

Как бы там ни было, Данила выполнял приказание, а через два-три дня понял, что делал бы это и помимо воли командира. Была Аришка вроде и не очень красивой, но из глаз ее лился такой теплый и доверчивый свет, что у Данилы в груди больно и сладко постукивало.

В этой деревушке отряд Тихомилова простоял еще пятеро суток, а на шестые рано утром командир поднял его выстрелами из нагана:

– Хозвзводу тут стоять! И ты тут с ними оставайся! – крикнул он почему-то Аришке, выскочившей из избы, где она ночевала. – Мы скоро...

Рванув коня, он поскакал вдоль улицы, за ним остальные, девушка лишь увидела, как мелькнул вороной жеребец Данилы да сверкнули его зубы: обернувшись на бешеном скаку, он что-то прокричал ей, но что – она не расслышала, голос сквозь громкую дробь множества копыт не пробился.

Вернулся отряд не скоро, только на другой день к вечеру. Пыльные, усталые, окровавленные партизаны втягивались в деревню на измотанных лошадях гуськом, на некоторых вместо всадников были перекинута тела погибших..

– А Данила как? Господи, Афанасьев-то Данила живой?! – металась Аришка от всадника к всаднику, растерянная, обезумевшая. Ей никто не отвечал, только один бородатый партизан сердито сказал:

– Радуйся, живой покуда.

Данилу она увидела шагающим сбоку телеги. Он был мрачен, вел в поводу своего коня. На телеге, без фуражки, с закрытыми глазами лежал Тихомилов.

– Данилушка! – Она подбежала к телеге. Не решаясь прикоснуться к Афанасьеву, глотая слезы, выдавила из себя: – А дядя Тихомилов... Он убитый? Убитый?!

Тихомилов открыл глаза, улыбнулся:

– Живой я. Черта с два меня убьешь, живо-ой! Мякоть ноги вот пробило. Ерунда... Через недельку бегать буду.

Дотемна Данила Афанасьев возился с командиром, помогал промывать рану, укладывал на ночь. Потом распоряжался по устройству отряда на отдых, о завтрашних похоронах погибших, отряжал дозорных... Уж далеко за полночь, измотанный и мрачный, появился в избенке, где жила все эти дни Аришка у какой-то старухи.

Едва он брякнул пашкой на крыльце, она распахнула дверь перед ним.

– Ты не спишь, гляжу. Иду, а в окне огонь...

– Какой сон, какой тут сон! – воскликнула она. – Проходи.

– Ну, я только тебя проведать... Пойду, прикорну где-нибудь.

– Еще чего! Ложись вон на кровать. Хозяйка в завозне эти дни спит. Голодный ведь, поди? У меня каша есть и молоко.

– Каша? Я и вправду бы поел...

Ужинал он молча, девушка тихо и неслышно сидела на другом конце стола, молча глядела и глядела на него, из глаз ее лился тот теплый, материнский свет, который всегда смущал Данилу, но на этот раз он ничего не чувствовал, ничего не замечал.

Поев, он устало разогнулся и встал. Она метнулась к кровати, откинула одеяло, взбила подушку. Данила опустился на постель, стянул грязные сапоги, скинул вонючие портянки, задвинул ногой под кровать.

– Давай сюда, я постираю, почищу.

– Жена ты, что ли, мне?

– Так что ж, что не жена? Не привычная разве? И гимнастерку со штанами давай. Печку сейчас растоплю и к утру высушу. А то пропотел весь. Снимай, а я выйду.

Она скользнула за дверь. Данила посидел в раздумье, снял верхнюю одежду, бросил на стул и лег под лоскутное одеяло.

Через некоторое время Аришка скрипнула дверью, вошла, взяла гимнастерку со штанами, подошла к висячей лампе и дунула.

– Спи покуда, – сказала из мрака и пошла.

– Ариш... побудь со мной.

Она у дверей остановилась, постояла, потом шаги стали приближаться к кровати и замерли. Данила лежал с закрытыми глазами, боясь их разомкнуть.

– Эта рубка была – жутко вспомнить, – произнес он, так и не открыв глаз. – Бандиты вчерась ночью на село Петрушиху налетели, начали тама людей палить. Утром-то вчерась и прискакал оттуда мужик – помогите, мол. Ну, Тихомилов и повел отряд. Бандюков мы живо выперли, половину порубили, остальные в горы ускакали. Переночевали мы тама, четверых своих утром похоронили, назад сюда было направились. А тут... только мы в котловину какую-то въехали, и налетели на нас уцелевшие бандюги с какой-то подмогой. И началось... ровно вода в этой котловине закипела.

– Да я знаю... мужики рассказывали, – прошептала Аришка. Шепот ее был совсем близко, над самым ухом, Данила ощутил ее дыхание на своем лице и с удивлением открыл глаза. В полумраке он увидел, что Аришка стоит у кровати на коленях, а на плечах ее, на гладко зачесанных волосах поблескивает неяркий лунный свет. – Как еще ты-то... ты-то живой остался! – всхлинула она и уронила ему на грудь тяжелую и горячую голову.

– Остался вот... – Он положил ладонь на ее голову и стал поглаживать. – А дядь Кузьму опять ранило. Ровно мало ему... ровно проклятье какое над ним! Не могло меня-то вместо него!

– Господь с тобой! Очнися! – тотчас оторвала девушка от его груди голову. – Чего городишь? Чего ты... желаешь?!

Какое-то время они помолчали, потом Данила прерывисто вздохнул, вытер ладонью повлажневшие ресницы:

– Жалко мне его, Ариш...

– Кому ж не жалко? И мне тоже...

– Твоя-то ранка как?

– Зажила-а! Вот, глянь... – Она схватила его руку, сунула на свое плечо. – Рубчик только остался.

Тело ее было горячее, никакого рубчика на ее плече сквозь тонкий ситчик он не чувствовал, может, потому, что рука его задеревенела от рукояток шашек да наганов или оттого, возможно, что пальцы и всю ладонь обжигало девичье тепло. Подрагивающей рукой он скользнул по ее открытой шее, по затылку, стал пригибать к себе ее голову. Аришка покорно поддалась, он поцеловал ее сперва в пылающую щеку, нашел ее губы.

А потом почувствовал, как на его лицо капают обжигающие капли. И зашептал, все крепче прижимая ее голову к груди:

– Дурешка ты махонькая. Ложися ко мне... Иди скорей! А утром я объявлю, что поженились, мол, мы. Ну, аль не согласна?

Но тут девушка, преодолевая его сопротивление, подняла голову. С колен она не встала, только сняла со своего затылка его ладонь, взяла ее в обе руки, уткнулась в эту загрубевшую ладонь мокрым лицом.

– Я с первого дня согласная, Данилушка, – прошептала она. – Только... грех до свадьбы-то. Скотина, что ли, я какая... и ты...

Она поднялась, взяла со стула его гимнастерку и брюки. И, прижимая к худенькой груди эту грязную одежду, проговорила голосом, переполненным волнением и какой-то детской, а оттого чистой радостью:

– Коли ты возьмешь меня... я тебе со счастьем детей рожать буду. Господи!

И с этим возгласом выбежала из комнаты.

Уснул или не уснул в эту ночь Данила Афанасьев, он и сам не понял. А утром пришел к командиру отряда и сказал:

– Порешил я жениться, дядь Кузьма. На Аришке.

Кузьма Тихомилов сидел на кровати, отвалившись на подложенные под спину подушки в пестрых наволочках, пил чай из толстой фаянсовой кружки. Забинтованная нога его лежала поверх одеяла.

Командир отряда поглядел на свежевыглаженную гимнастерку своего приемного сына, на вычищенные и даже смазанные дегтем сапоги, грубовато сказал, дуя в чашку:

– А я тебе что говорил, балда? Давай, вот как нога моя ходить станет, свадьбу сделаем по-партизански. Через недельку, я рассчитываю.

– Да разве за неделю пройдет рана?!

– Ну! – прикрикнул Тихомилов. – Чего тянуть-то?

Свадьбу отвели в один вечер в той же избе, где ночевал неделю назад Данила – благо после боя близ сельца Петрушихи о новых бандитах слухов никаких не доходило. Попели, поплясали мужики, командир отряда пришел на свадьбу с костылем, но на своих ногах, за столом сидел счастливый и несколько раз в каких-то чувствах шептал Даниле: «Теперь-то видишь, что на Татьяну она мою похожая? Я сразу почуял. Характером-то, а?» – «Ну да, ну да», – согласно кивал Данила, хотя никак не мог уловить в Аришке чего-нибудь общего с погибшей женой Тихоми-Лова. Ему нравилась Аришкина чистота и застенчивость, ее добрые и верные глаза, он слышал сладкий запах ее тела – и был от всего этого словно в пустом пространстве, легко и радостно плыл куда-то.

Через день или другой после свадьбы пришли известия, что антисоветский мятеж на Алтае стал затухать, а вскоре и вообще прибыло распоряжение отряду Тихомилова прибыть в Змеиногорск, оттуда отправили его в свою волость, где и расформировали, распустили бойцов по домам.

Кузьма Тихомилов остался работать в волости, Данила Афанасьев с молодой женой вернулся в Романовку, через положенное время она родила Катю. «Со счастьем рожать буду», – сказала когда-то Аришка, так оно и было, ребенка она носила в себе, без меры счастливая. Только роды дались ей сильно тяжело, и она, измученная и обессиленная, лежа в своем домишке на кровати, проговорила слабым, виноватым голосом:

– Видно, тогда колчаки что-то повредили во мне. До родов-то я, ей-богу, ничего не чуяла... никакой неисправности в себе. Ты уж прости меня.

– Что ты, что ты! – возразил Данила. – Какая твоя вина тут?

– Ну как же, чуть не помела. Каково бы тебе с дитем одному-то?

– Да все же слава богу!

– Не-ет, Данилушка, не все, – измученные глаза ее переполнились слезами. – Чую, боле не родить мне.

– Да и что ж, – успокаивал он жену. – Есть одна дочурка, и ладно.

– Не ладно, – опять возразила она. – Баба ж я... Я обещала тебе детишек нарожать. – И она по-детски заплакала. – А тут, выходит, обманула...

Этим разговором открылась Аришка ему еще одной новой гранью. Данила и раньше души в ней не чаял, а теперь и вовсе стал оберегать да лелеять не по-деревенски. Сперва дивовались мужики, что в дождь или слякоть, а то просто вечером, когда с работы возвращались, посадит Данила жену на ладошку, да так и пронесет через всю Романовку. А она, маленькая и тоненькая, как девчонка, обхватит его шею, прижмется к нему у всех на виду, счастливая... Удивлялись, а потом привыкли.

\* \* \*

Кузьма Тихомилов скончался в двадцать девятом, двенадцатого декабря, всего сорока трех лет от роду. Умирал он от прошлых огневых своих и пашечных ран долго, целый месяц, а за несколько дней до кончины призвал к себе Данилу Афанасьева и сына Степку, рослого, под девятнадцать лет уже парня, попросил похоронить его в могилке своей жены, убитой когда-то Сасонием Пилюгиным, а потом, тяжело дыша, говорил им:

– Вы мне обои дети. Ты, Данила, мужик, Степка, хоть в года и входит, да еще глазу требует. Когда-то я тебя на укреп взял, теперь ты позаботься об Степке. И доучи его в школе-то, последний же год он ходит.

– Какой разговор, дядь Кузьма!

– А ты, Степан, слушайся его, как отца... А про тебя, Данила, я скажу людям, чтоб председателем поставили. Грамоты у тебя большой нету, да ведь и я не шибко грамотей. Читать-писать умеешь, и хватит. Силищи в тебе невпроворот, повезешь, ничего. Жену-то все на одной ладошке носишь?

– Да чего там носить-то? – смутился Данила. – Она как перышко.

После смерти Кузьмы Тихомилова люди избрали Данилу Афанасьева председателем романовского колхоза беспрекословно. Степан остаток зимы и весну, заканчивая школу, пробыл в Березовке, а, вернувшись потом в Романовку, на жительство к Афанасьеву, несмотря на настойчивые уговоры, не пошел.

– Ну кто же тебе варить-стирать будет? Как ты один-то в доме? – спрашивала Арина.

– Отец же велел тебе покуда при нашей семье жить, – неоднократно напоминал сам Данила.

Степан, длинный, как хворостина, отвечал:

– Отцу все казалось, что я маленький. А я вон головой матицу достаю. А сварить, постирать – что у меня, рук нету?

Вернувшись из Березовки, Степан первым делом подправил могилу отца, вытесал и поставил на ней новый крест, обнес деревянной оградой.

Умирая, Кузьма Тихомилов велел Даниле Афанасьеву обсадить деревьями голое кладбище, лежавшее в ложбинке меж двух холмов на виду у деревни. «А то неуютно в нем лежать-то людям. Ты тополями обсади, они скоро растут», – сказал он. Данила выполнил его просьбу, этой весной на кладбище было высажено больше сотни молодых топольков. Принялись они почти все, только некоторые сильно покривило ветром. Степан Тихомилов забил возле каждого деревца по крепкому колу, подвязал к ним гибкие стволы.

Покончив со всей этой работой, он принялся приводить в порядок пустовавший родительский дом – печь заново глиной обмазал, стены побелил, полы кой-где перестелил, ставни покрасил.

– Никак хоромы-то для молодухи готовишь? – любопытствовали бабенки. – Жениться, что ль, задумал?

– Жениться, бабы, не вопрос, – шутливо отвечал он, не прекращая работы. – Да вот кабы кто научил, как ребятишек завести.

Данила снова предлагал ему свою помощь в ремонте дома, но он решительно отказывался. А приведя жилье в порядок, попросился у Афанасьева в пастухи.

– А поважней за что не взялся бы? – спросил Афанасьев. – Вон надо молотильный ток с амбарами строить.

– Так в колхозе поважней пастуха есть ли должность? Как попасешь, так и надоишь. А молокопоставки нам не маленькие...

В таких словах никакой шутливости уже не было, и Данила, поразмыслив, признал правоту за Степаном.

Через два дня он принял колхозное стадо. Колхоз был небольшой, а стадо на одного не так уж и малое, несколько десятков коров, телят да овец, всего за сотню голов переваливало, глаз за разномастным табуном должен быть да быть, в ключах и волчьи выводки жили, а с алтайских гор, бывало, и медведи в холмы заходили. Для пастуха выделили ружье и лошадь, каждое утро теперь, когда солнце еще было далеко за землей, Тихомилов пощелкивал длинным кнутом, угонял скотину в холмы.

Через неделю или две ходившие за ягодами в Летний ключ бабенки принесли чудную весть: скотина ходит по буеракам без всякого пригляда, Степка, укрывшись от зноя в кустах, наяривает в гармонику, а какая-то бесстыжая девка, гибкая, как змея, выплывает перед ним.

Сам Степан эти загулявшие по Романовке слухи не опровергал, только загадочно посмеивался, а когда мужики напрямик обращались к нему за разъяснением в обычной своей шутливой манере, говорил:

– Про гармонику бабы выдумали, про девку тоже. Остальное все правда.

– А чего остального-то?

– Да что коровы по буеракам бродят. Где ж им еще пастись?

А сам хитро улыбался, из шальных глаз будто лучи брызгали. Улыбка его озадачивала еще больше, в конце концов даже сам Данила Афанасьев спросил:

– Ты что народ баламутишь?

– Как это?

– Да вон разговоры про тебя плетутся. Про девку какую-то, которая пляшет.

– А у меня, как я заиграю, и овечки хоровод заводят, а коровы в камаринскую пускаются, аж земля гудит.

– Какой-то ты, Степаха, несерьезный будто.

– Ну! – смешинки в его глазах пропадали, он делался сухим и колючим. – Овечки, может, отощали? Удой понизились?

Все как раз обстояло наоборот: овцы были гладкие, телята хорошо прибавляли в весе, удои стали выше прежнего.

– Я, дядь Данила, играть на гармонии не умею. Оно бы хорошо, конечно, научиться...

Так он ответил тогда председателю, а зимой, через два месяца после Нового года, когда председатель радостно праздновал рождение сына Михаила, Степан зашел в его дом с сильно оттопыренной полой полушубка. И когда скинул полушубок, все увидели на его плече блестящую перламутром трехрядку.

Люди за столом удивленно замолкли, а Степан, поблескивая глазами, сел на скамеечку у порога, положил гармошку на колени.

– Ну-ка, оцените...

И ударил ту самую камаринскую, о которой говорил председателю летом. Играл он чисто, гармошка пела и переливалась, поблескивали пуговицы ладов. Гости Афанасьева забыли на время о хозяине, хозяйке и их радости, ошарашенно смотрели на Степана Тихомилова. И деся-

тилетняя дочь Афанасьевых Катя, свесив с печи головушку, во все глаза глядела на новоявленного гармониста.

А потом бабы и мужики кинулись плясать, прогибая половицы, выкрикивать деревенские частушки. Степка все играл и играл без передыха, кто-то его обнимал, подносил водку с закуской, он выпивал и опять играл. Кругом галдели:

- Свой гармонист теперь в Романовке!
- Теперь и жить и помирать будем с музыкой.
- Значит, бабы-то ягодницы правду тогда говорили!
- Гармония есть, объявится и тая танцорка...

Когда Степан, утомленный долгой игрой, сидел вместе со всеми за столом, председатель упрекнул его:

- Говорил – не умею, а?
- Так я ж и говорил – хорошо б научиться. А тогда так, пиликал. Купил гармонь да по самоучителю вот все лады потихоньку и освоил.
- Хитрец.
- Хитрец-то, дядь Данила, чужой песне подыграть старается. А я свою пою, – возразил Степан.

- Ну! Какая ж она, твоя песня? Что-то я вот, признаться, никак понять того не могу.
- Не беспокойся, дядь Данила. Человечья...

И он, весело подмигнув свесившейся с печки Катерине, отчего она мгновенно юркнула куда-то в темную глубь, будто ветром ее слизнуло, снова потянулся за гармошкой.

Целых десять лет семейство Афанасьевых не увеличивалось, сам Данила, помня о здоровье жены, вроде бы даже был таким обстоятельством доволен, но Арина молча и тяжело переживала. И когда почувала наконец в себе новую жизнь, облегченно заплакала.

– Да, это славно, Аришка... Только нельзя тебе родить-то. Каткой вон чуть богу душу не отдала. А снова рисковать не стоит.

– Я не рисковать, а рожать буду, – упрямо заявила она и, несмотря на отговоры мужа, на своем настояла. Но роды, к великой радости обоих, получились намного легче прежних, оба думали, что бывшие колчаковские побои, видно, больше сказываться не будут, и находились от счастья на седьмом небе. Еще через пять лет родился Колька, снова обошлось все более или менее благополучно. А при рождении Зойки и произошла трагедия, таившаяся внутри у Арины с далекого девятнадцатого года. Произошла через два десятка лет, в ту пору, когда жизнь неузнаваемо переменилась и наладилась, когда только бы жить да радоваться на белый свет. К тридцать девятому году небольшой Романовский колхоз хорошо стал на ноги, и хотя ни электричества, ни радио сюда еще не дотянули из-за дальнего расстояния от крупных сел, песни над деревушкой звучали каждый день, патефонные коробки были у многих, завелись и гармонисты помимо давно обженившегося Степана Тихомилова. Но главное, в сусеках колхозников бывало достаточно зерна, во дворах – у каждого корова, полдюжины овец, обязательно свиноматка с хряком, а уж о всякой птице и говорить нечего – гусей, уток и кур каждый держал сколько хотел. И хотя сельхозналоги – мясные, молочные, яичные, шерстяные и прочие, говоря по совести, были немалые, но и для себя еще оставалось достаточно. Однако после смерти жены для Данилы Афанасьева свет потух.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.